Олег Минкин
Виктор Голков

Правдивая история Страны Хламов

Антиутопия

Минкин, О.
Правдивая история Страны Хламов: антиутопия /
Олег Минкин, Виктор Голков

Литературно-художественное издание

Минкин Олег
Голков Виктор

Правдивая история Страны Хламов
Антиутопия

Иллюстрации
Владимир Кузьмин

Издательство
Издательское агентство «Экопресс»

ISBN 978-83-962816-8-5

Предисловие

Антиутопия „Правдивая история Страны хламов” („Праўдзівая гісторыя Краіны хлудаў”) была написана во времена так назаваемой „перестройки”, когда вместо „тюрьмы народов” – Союза совецких социалистических республик – на карте мира появилось пятнадцать независимых государств. Впервые русскоязычный вариант антиутопии увидел свет в 1991 г. в Кишинёве (малая родина Виктора Голкова, сейчас известного русского поэта). В 1994 г. в Минске был напечатан белоруско-язычный вариант книги „Праўдзівая гісторыя Краіны хлудаў”. Творческое сотрудничество литераторов позволило на основе небольшого „местечка” создать целый мир: напреодолимо отмежёванную от окружаещего мира Высоким квадратным забором Страну Хламов.

Квадратность строя жизни хламов и бессмысленные стройки столетия, „декадентская” неприземленость богемы и беспощадность восстания пролетариата, цепкие пальцы правителя, которыми он держится за трон до последнего мгновения своей жизни, контролируемое, карманное подполье-оппозиция, руководитель которой – зеркальное отражение диктатора, призрачная притягательность Зазаборья, – всё это актуализирует написанное и для современного читателя.

В разное время жанр антиутопии „Правдивая история Страны хламов” определяли по-разному: и притча, и роман-игра, и фентези. Согласно «демиургов» Хламии, это произведение написано в жанре социальной фантастики. Впрочем, извилистые судьбы героев антиутопии и трагическая хламская история, словно сложенная из мрачных мгновений беларусского прошлого, настоящего и вероятного будущего, –делают произведение Олега Минкина и Виктора Голкова всё более социальным и всё менее фантастическим.

Сергей Гавриленко

СТРАНА ХЛАМОВ





Рисунок О. Аблажея

КОРОТКО ОБ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ СТРАНЫ ХЛАМОВ

Есть на свете такая Страна Хламов, или же, как её чаще называют сами хламы, Хламия. Точнее, это даже никакая не страна, а всего лишь небольшое местечко, где теснятся одноэтажные деревянные и каменные домишки, окружённые со всех сторон Высоким квадратным забором. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, будто он оказался на дне глубокого сумрачного колодца, выбраться из которого невозможно, — настолько высок этот забор. Сами же хламы, родившиеся и выросшие здесь, к подобным сравнениям, разумеется, не прибегают.

В ста шагах от Высокого квадратного забора параллельно ему располагаются четыре улицы, также образующие квадрат. Это улица Верности, улица Тонких-до-невидимости намёков, улица Цветных мыслей и улица Туманного парадокса. На углу улицы Верности и улицы Тонких-до-невидимости намёков размещается кабачок «Сердцебиение», где жители местечка любят проводить время за приятными беседами и распитием «Горькой полыни», любимого напитка хламов. На углу улицы Тонких-до-невидимости намёков и улицы Цветных мыслей возвышается громада Фабрики-кухни парадоксальных идей — хламской академии. На углу улицы Цветных мыслей и улицы Туманного парадокса — Семейное общежитие мусорщиков. И, наконец, на углу улицы Туманного парадокса и улицы Верности находится Пруд.

Пространство между Высоким квадратным забором и вышеозначенными четырьмя улицами покрыто деревьями и кустарником. Это Нескучный сад — остатки древней Пущи, на месте которой возникла Хламия.

Кабачок «Сердцебиение» и Семейное общежитие мусорщиков сообщаются между собой широким бульваром Обещаний. Другая диагональная улица, соединяющая ФКПИ (Фабрику-кухню парадоксальных идей) с Прудом, носит имя Моралистов-эквилибристов. На пересечении бульвара Обещаний и проспекта Моралистов-эквилибристов лежит небольшая Площадь с Дворцом правителей с одной стороны и особняком иностранца Шампанского — с другой.

Кроме уже перечисленных улиц имеется ещё одна, берущая начало от улицы Верности и упирающаяся в единственные в Высоком квадратном заборе Ворота. Эти Ворота постоянно заперты, и, возможно, поэтому жители местечка упомянутой улицей почти не пользуются и называют её улицей Заросшей сорняками.

Флора страны состоит из Нескучного сада, Пруда, деревьев, высаженных вдоль бульвара Обещаний, а также кустов и цветов под окнами домиков.

И фауна Хламии весьма небогата: в заросшем тиною Пруду не водится никакая рыба — живут здесь лишь несколько сотен лягушек, а в прибрежных кустах порхают золотистые бабочки да стрекозы изумрудной окраски; в Нескучном саду обитает довольно большое количество зелёных кузнечиков; в кронах деревьев на бульваре Обещаний распевают по ночам какие-то хохлатые с пёстрым оперением птицы.

Коренное население Хламии — хламы и иностранец Шампанский, который, хотя и родился в Стране Хламов, является, однако, владельцем заграничного паспорта.

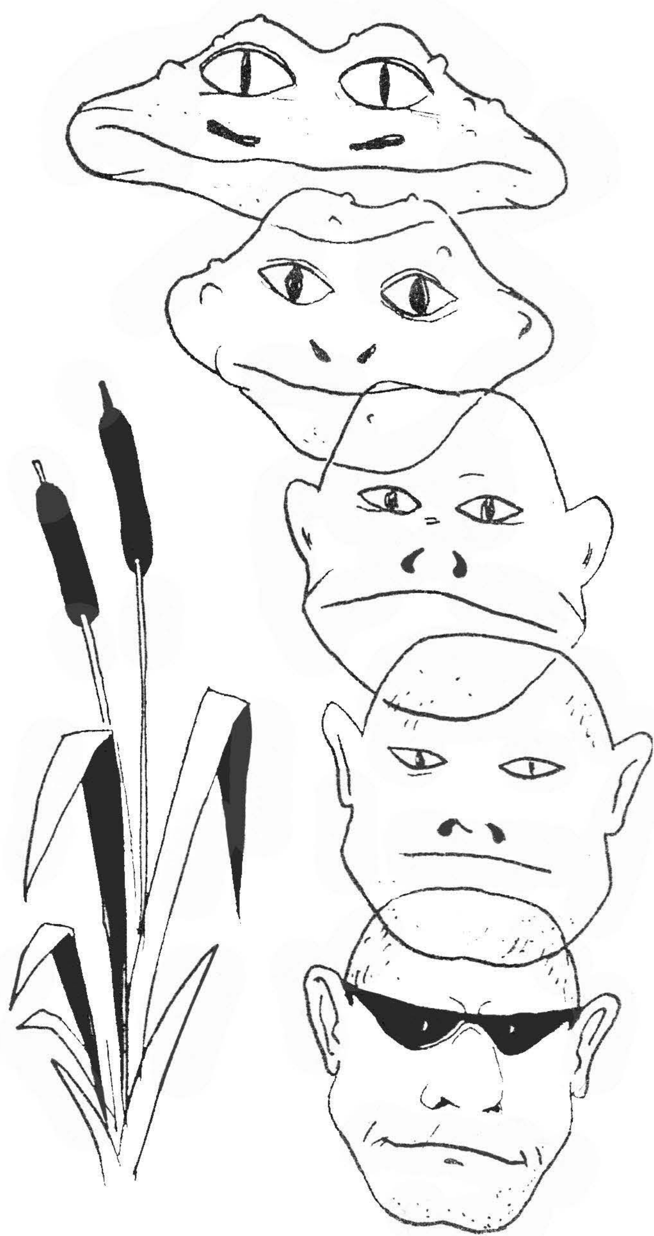
О том, что происходило в стране начиная от первого легендарного государя Висуса Пропащего до нынешнего правителя Верени Водаёта, можно узнать из шестнадцатитомной «Истории Государства Хламского», вы-

пущенной недавно историческим факультетом ФКПИ. (Государство Хламское — древнее название Страны Хламов.) Но, к сожалению, многие исторические события в этой «Истории» изображены не так, как это было в действительности, а некоторые из них так и совсем остались в безызвестности: каждый новый правитель переписывает историю хламов заново, в зависимости от своих привязанностей и вкусов.

Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать о хламской истории и географии. Добавим только, что из-за непомерной высоты Высокого квадратного забора солнце никогда не заглядывает в Хламию и, случается, днём на квадрате хламского неба можно различить бледные лампочки звёзд. По этой же причине летом здесь весьма сыро, а зимой местечко по самые крыши заносит снегом, и оттого-то хламы вынуждены регулярно впадать в долгую зимнюю спячку.

НЕЗНАКОМЕЦ В ПОЛУВОЕННОМ ФРЕНЧЕ

Разумеется, поскольку существуют Ворота в какую-либо страну, то в эти, пускай и постоянно запертые, ворота обязательно кто-нибудь да войдёт. Поэтому не исключено, что Смок Калывок проник в Хламию через Ворота в Высоком квадратном заборе. Впрочем, есть и другие версии: а) Смок Калывок попал в страну через лично им прорытый подкоп; б) просочился сквозь неразличимые глазом трещины в Высоком квадратном заборе; в) он вообще ниоткуда не проникал, а родился и вырос в Хламии. Доподлинно же известно только то, что первым его увидел иностранец Шампанский, который вечером прогуливался, как обычно, по безлюдной улице Заросшей сорняками. Было уже довольно темно, и иностранец заметил Смока Калывока только тогда,



когда лоб в лоб столкнулся с ним. «Sorry», — сквозь зубы процедил Шампанский, потирая ушибленное место, и пристально посмотрел в лицо незнакомцу в наглухо застёгнутом полувоенном френче. Незнакомец ничего не ответил, и Шампанский в который раз подумал, что было бы нелишне использовать наконец свой заграничный паспорт и навсегда покинуть опостылевшую Страну Хламов.

Несколько позднее на улице Верности загадочный незнакомец до полусмерти избил профессора ФКПИ Уха Перекидника. Репортёру газеты «Правдивый хлам», взявшему интервью на месте происшествия, Смок Калывок заявил: «Я лишний раз хотел убедиться, чего стоят пресловутые хламы с их бесконечными разглагольствованиями про свободу воли, парапсихологию, демократию, искусство, свободную любовь и права личности!»

Следующим местом, где объявился незнакомец, был кабачок «Сердцебиение» — приземистое строение с красным, пробитым чёрной стрелой сердцем вместо вывески. В тот вечер в кабачке собралась практически вся местная богема. В сизых кольцах сигаретного дыма столики, за которыми сидели богемовцы, казались маленькими подводными лодками. Закуренный сводчатый зал был заполнен густым однообразным гулом. Со стороны могло показаться, что завсегдатаи кабачка, не слушая и перебивая один другого, высказывают самые невероятные противоречивые мысли и суждения, давно уже не понимая, о чём, собственно, идёт речь. Богемовцы называли это творческим контактом.

Коренастая фигура, обтянутая полувоенным френчем, выросла как бы из-под земли. Суровый и незнакомый богемовцам хлам остановился посреди зала и застыл в самой угрожающей, на какую только был

способен, позе. На его лице зловеще блестели чёрные очки, а по губам гуляла жестокая улыбка. «Смирно, интеллигенты!» — заверещал он. В этот момент всем известный художник Крутель Мантель оперся, как на колонну, на плечо Смока Калывока, стряхнул с сигареты столбик пепла на его полувоенный френч и с задумчивой улыбкой обратился к аристократке Гортензии Набиванке: «Ужас вечера в том, что вслед за вечером неизбежно наступает утро. А что может быть хуже неизбежности?» Зловеще блеснув на Крутеля Мантеля чёрными очками, Смок Калывок круто повернулся и направился к выходу.



КРУГ ЗАМКНУЛСЯ!

В прихожей кабачка незнакомец в полувоенном френче лёгким движением вскинул на спину бочку «Горькой полыни» и, оттолкнув к стене ошеломлённого кабатчика Лажбеля, вышел вон. На улице он согнал с губ жестокую улыбку, пригасил угрожающий блеск своих непроницаемо-чёрных очков и, немилосердно толкая встречных хламов и хламок, строевым шагом двинулся к Семейному общежитию мусорщиков.

Мусорщиками назывались хламы весьма далёкие от парапсихологии и других утончённых наук, буйно процветающих на границе разума и таинственных глубин подсознания. Возможно, поэтому они занимались самой простой физической работой: прибирали захламлённые за день улицы, ремонтировали старые постройки, варили «Горькую полынь», а также чеканили осьмаки — монеты с изображением нынешнего правителя Хламии Верени Водаёта на одной стороне и Высокого квадратного забора на обороте. И хотя эти осьмаки согласно закону должны были распределяться между хламами в зависимости от направления ветра и цвета глаз, большая часть их оседала почему-то в карманах профессоров ФКПИ, богемовцев, хламов, близких по духу к богемовцам, и других аристократов. Поэтому ясно, как обрадовались мусорщики, когда незнакомый хлам, одетый в простой полувоенный френч, выкатил им дармовую бочку «Горькой полыни». Такое случалось нечасто, а возможно, и впервые в истории Государства Хламского.

Вскоре в Семейном общежитии мусорщиков раздались крики и застольные песни. А ещё через некоторое время Смок Калывок был признан «своим в доску» и большинство мусорщиков поклялось ему в

вечной дружбе. После клятвы все до одного, кто ещё держался на ногах, причесались одной расчёской, что символизировало у мусорщиков единство взглядов и полное взаимопонимание…

На следующее утро иностранец Шампанский проснулся от непривычных возгласов: «Направо! Налево! В две шеренги становись!» С удивлением прислушавшись к неприятному, как скрипящая пружина, голосу, Шампанский тем не менее от души себя поздравил, ибо он вообще любил себя поздравлять. «Никто этого не сделает лучше меня», — справедливо полагал он. Затем Шампанский заглянул себе под подушку, чтобы убедиться, что его заграничный паспорт находится на своём обычном месте, ласково погладил аксамитовую, с гербом какой-то страны обложку бесценного документа и выглянул в окно. Он был весьма удивлён, увидев мусорщиков, которые короткими перебежками, согнувшись, как бы прячась от неизвестного врага, со всех сторон приближались к Дворцу правителей. По характерному блеску в кустарнике, растущем перед окном особняка, Шампанский узнал вчерашнего незнакомца в полувоенном френче — так могли блестеть только его чёрные очки. И тут иностранец вспомнил, что Дворец испокон веков никем не охраняется… Он ещё немного понаблюдал за взбесившимися мусорщиками и направился на кухню, ибо жизнь его была расписана по минутам и завтрак был для Шампанского важнее самых извилистых зигзагов хламской истории.

Тем временем под звон оконного стекла, разбиваемого мусорщиками, Смок Калывок ворвался в Тронный зал. Повелитель Страны Хламов Вереня Водаёт как ни в чём не бывало тихо посапывал, откинувшись на бархатную спинку своего уютного трона-качалки.

— А ну, слазь! — выдохнул прямо ему в ухо Смок Калывок.

Вереня Водаёт заспанно глянул на приземистую, туго обтянутую полувоенным френчем фигуру, тряхнул головой и собрался было снова уснуть, но претендент на трон грубо пнул его в плечо и как можно более грозно приказал:

— Слазь, тебе говорят!

После этого повелитель хламов окончательно проснулся. Он с тоской оглядел широкие плечи и увесистые кулаки нового претендента и покрепче ухватился за подлокотники трона-качалки.

— Не могу, я всегда здесь сижу.

— Посидел, теперь дай посидеть другому, — злобно прошипел Смок и обеими руками ухватил Вереню Водаёта за грудки, пытаясь оторвать его от трона. Однако, хотя трон вместе с повелителем и поднялся над полом, тот не отпускал его.

— Всё равно не слезу, — прохрипел повелитель и, набрав воздуха, добавил: — Воротник оторвёшь, болван!

— Я тебе покажу болвана! — взревел Смок Калывок и лбом огрел своего врага по лысому блестящему затылку.

Пальцы повелителя разомкнулись, и трон-качалка шлёпнулся на своё обычное место. «Круг замкнулся!» — прошептал Вереня Водаёт. Это были его последние слова.

Я ЗАВИДУЮ МУСОРЩИКАМ!

Очень хочется описать настоящие, живые чувства. Но поскольку существует страна, обнесённая Высоким квадратным забором, приходится примириться с тем грустным фактом, что никаких настоящих чувств в этой стране нет и быть не может. И хотя художник Крутель Мантель и аристократка Гортензия Набиванка охотно и много рассуждают про искусство и вечную любовь, но совершенно очевидно, что каждый из них попросту практикуется в красноречии и одновременно любуется самим собою.

— Да, — говорит Гортензия Набиванка, — неплохо было бы поговорить о смерти в её философском аспекте.

— Мне не страшно умереть — мне страшно *умереть*, — отвечает ей на это Крутель Мантель.

— Почему?

— Потому что моё сердце разбито и мне вовсе не до игры.

— Ну и что? Души хламов — это беспомощные бабочки в синей пустоте одиночества. И каждый из нас — беззащитная бабочка, заблудившаяся во мгле… Но всё же какое это счастье — жить и любить!

— А мне дурно от оптимистов, которые всю жизнь только и делают, что притворно улыбаются. Я знаю: под упругой оболочкой их жизнерадостных улыбок прячется та же бездна взаимной чёрствости и равнодушия. Я завидую мусорщикам: как это чудесно — делать что-то своими руками, чувствовать, что ты живёшь на свете не зря, а приносишь пользу, вместо того, чтобы долдонить с утра до вечера о вечной любви, искусстве, парапсихологии и всяких там «взрывах трансцендентального сознания».

— Вот и я хотела бы стать такой, как они, упроститься, что ли? Но боюсь, что с нашим багажом обратного пути уже нет.

Раздаётся грохот. Двери слетают с петель, и два пьяных мусорщика, радостно гогоча, хватают влюблённых и, невзирая на их протесты, волокут на улицу.

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

Последний романтик и гений страдания Гицаль Волонтай с огромным рюкзаком за плечами брёл наугад по застланной плотным предрассветным туманом улице Тонких-до-невидимости намёков и напряжённо вслушивался в то, как скорбно стучит об днище его походного котелка альпеншток, рукоятка которого высовывалась из огромного коричневого рюкзака последнего романтика. Он казался себе призраком, случайно угодившим в сырой и мрачный колодец Страны Хламов, прилетевшим из какой-то далёкой загадочной вселенной и тщетно ищущим выхода из молочно-белого месива, замкнутого со всех сторон неприступным Высоким квадратным забором. Он казался себе одиноким духом, обречённым познать тоску и боль всех времён и всех поколений, и единственным настоящим выходом, единственным спасением было оказаться там, за недоступными стенами Высокого квадратного забора…

Однако на самом дне сознания Гицаля шевелилось коварное сомнение: а что если и там, в таком желанном Зазаборье, не вечная музыка, а небытие, безрадостное и безысходное? Вот он — тот самый мучительный вопрос всех бывших и будущих поколений! И что в сравнении с этим вопросом и эта мостовая, и он сам, и вся Хламия, и это существо, которое приближается

к нему, Гицалю Волонтаю, этот бедный мусорщик — мираж, видимость, фантом — и ничего более. Так-то, брат мой, мы с тобой оба лишь скитальцы на этой пустынной земле…

С глубокой всепрощающей скорбью глаза гения страдания остановились на плотно сбитой фигуре дюжего мусорщика, а тот без лишних слов схватил Гицаля Волонтая за ворот, скорее всего, случайно защемив при этом прядь длинных белёсых волос, и куда-то поволок его. О чём в этот момент размышлял последний романтик, навсегда осталось тайной.

И НИКАКАЯ Я НЕ БОГЕМА!

При первом же известии о смене государственной власти народный писатель Хламии Свинтарей кинулся на поиски наиболее надёжного убежища. Прекрасно зная, что за долгие годы его неутомимой писательской деятельности ни одной его книги так никто ни разу и не прочёл, Свинтарей решил спрятаться под грудой своих собственных произведений. Сообразительный от природы, знаменитый писатель, кроме ручки и чернил, прихватил с собой в укрытие ещё и бутылку «Горькой полыни».

Во время обыска никто из мусорщиков, естественно, не догадался бы искать писателя в куче книг, беспорядочно сваленных в одной из комнат его просторного особняка. И, скорее всего, его так бы и не нашли, если бы одному из мусорщиков не захотелось покурить. Он вытащил из груды книг, под которой спрятался знаменитый писатель, один из его романов, выдернул страницу, свернул козью ножку и, прикурив, по слогам прочитал: «Смешно только мне» — заглавие объёмистого романа, который держал в руках. Затем



перевёл заинтересованный взгляд на высившуюся перед ним груду.

— Просто не верится, — обратился мусорщик к напарнику, — что такую прорву книжек мог написать один хлам. Наверное, только считалось, что всё это написал он один, а на деле ему помогала целая уйма народу: сын, дочь, тёща да ещё и свояки.

— Ясно, помогала, — убеждённо отвечал ему второй мусорщик. — Знаю я эту богему!

При этих словах книжная гора зашевелилась, и оттуда, как из подземелья, донёсся глухой голос:

— Враньё! Писал я и больше никто! И никакая я не богема — мой отец был такой же мусорщик, как и вы.

После чего Свинтарей вылез из-под книг, стряхнул пыль с постоянно надетой на него национальной хлам-

ской свитки и принял тот самый торжественный вид, какой он принимал всегда при вручении ему очередной награды. Судя по этому виду, ему много чего ещё хотелось высказать, но, к сожалению, эта возможность не была ему предоставлена, и то, о чём он собирался сообщить, так и не стало достоянием истории.

ИНОСТРАНЕЦ ШАМПАНСКИЙ ЧИТАЕТ МАНИФЕСТ

Иностранец Шампанский не был арестован только потому, что он был владельцем заграничного паспорта и числился персоной грата. Мстя ему за это, толпа разъярённых мусорщиков неоднократно выбивала стёкла его особняка. Причём та же самая толпа всякий раз вставляла стёкла на место, разумеется, за особую плату.

Всё это тем не менее не мешало Шампанскому регулярно прогуливаться по улице Верности, по бульвару Обещаний и по улице Заросшей сорняками. Купив во время одной из прогулок газету «Правдивый хлам», Шампанский прочёл там набранное жирным шрифтом объявление: ***«Ненавистный тиран свергнут и уничтожен! В честь победы новый правитель Смок Калывок приглашает всех на праздник. Явка обязательна. Форма одежды — сиреневые шаровары»***.

Далее в манифесте излагались мероприятия, составляющие основу программы нового правительства:

1. Перекрасить Высокий квадратный забор в сиреневый цвет и срочно заделать все щели в нём.

2. Объявить непримиримую войну всему, что находится за Высоким квадратным забором, ибо

если всё, что находится за ним, не будет вовремя уничтожено, то оно само уничтожит Страну Хламов.

3. Национализировать и выкорчевать Нескучный сад — место, где праздно шатаются всякие лентяи и бездельники, а затем силами лентяев и бездельников прокопать канал, который соединит Пруд с самим собой.

(Здесь же уведомлялось, что бывший художник Крутель Мантель, бывший романтик Гицаль Волонтай, бывший народный писатель Свинтарей, бывшая аристократка Гортензия Набиванка и ещё некоторые недоноски уже трудятся на строительстве этого канала.)

4. Переименовать проспект Моралистов-эквилибристов в проспект имени Смока Калывока.

5. Выселить из страны всех до единого иностранца.

Из всех пунктов программы нового руководства Шампанскому меньше всего понравился последний. Сложив газету и не теряя чувства собственного достоинства, он медленным шагом вернулся домой и начал упаковывать чемоданы с модными иностранными наклейками.

МЫ СТОИМ НА ПОРОГЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ!

Спустя неделю после издания манифеста над Страной Хламов поползли громоздкие снеговые облака. Подморозило. Закружились в воздухе лёгкие белые хлопья. Все хламы, исключая только бывших богемовцев, заканчивающих строительство канала, начали срочно готовиться к очередной зимней спячке.

И когда из мглистого квадрата неба вместо медлительных хлопьев посыпались мелкие кристаллические опилки, все хламы до единого спали сладким сном. И лишь строители канала, время от времени дуя на обмороженные руки, всё ещё долбили ломами смёрзшуюся глыбу бывшего Нескучного сада.

На закате поднялся ветер. Домишки утонули в белой круговерти. По Площади зазмеилась позёмка. К ночи местечко по самые крыши занесло снегом. Один только чёрный квадрат Высокого квадратного забора по-прежнему проступал из снега, да выцветшая портянка триколора на ржавом шпиле Дворца испуганно колотилась на ветру.

Перед рассветом пурга поутихла. Из-под низких облаков выбралась надкусанная луна. На снегу, подсинённом её сиянием, засверкали огоньки, которые перемигивались с далёкими лампочками звёзд, и если бы не чёрный квадрат на голубом фоне, залитом лунным светом, то могло бы показаться, что никогда и не было на свете такой страны, как Хламия.

...Ранняя зима и спячка помешали неутомимому диктатору Смоку Калывоку осуществить всё задуманное им по части коренного обновления Хламии. В бывшем Нескучном саду уцелели три дерева, под кронами которых тихо стрекотало несколько полуживых кузнечиков. В Пруду плескались шустрые головастики — потомство последней, не съеденной строителями канала лягушки. Восточная стена Высокого квадратного забора так и не была перекрашена. Зато канал силами бывшей богемы был целиком прокопан, хотя воду в него так и не пустили.

Именно способностью хламов впадать в зимнюю спячку историки позднее объяснили тот факт, что

они вообще сохранились как разновидность, и так называемая Новая жизнь, про приход которой начали уже всерьёз поговаривать, так и не наступила. Проснувшись, хламы узнали про Возрождение, начатое мало кому известными до этого подвижниками с бывшим поэтом Хитером Смитером во главе. «Таким образом, мы стоим на пороге Возрождения!» — торжественно говорили они, обрадованные возможностью разговаривать, почти утраченной во время кровавого правления Смока Калывока. «Ах, как это романтично — Возрождение», — шептали хламки, смакуя полузабытое слово «романтично», и озирались: а вдруг их истолкуют не так, как следует?

Благодаря Возрождению был посмертно реабилитирован и возвращён в число граждан гений страдания и последний романтик Гицаль Волонтай, а также знаменитый художник Крутель Мантель: именно они перекорчевали едва ли не половину Нескучного сада. Реабилитировали без права гражданства бывшую аристократку Гортензию Набиванку. И бывший народный писатель Свинтарей получил возможность вернуться домой и заняться творчеством, хотя этому сильно препятствовали застарелое несварение желудка и хронический насморк, заработанные им на строительстве канала. И иностранец Шампанский, запаковавший было свои чемоданы, остался в Хламии.

ПОДВИЖНИКИ

Кровавый диктатор Смок Калывок, как уже упоминалось, был свергнут подвижниками во главе с Хитером Смитером. Точнее говоря, никто Смока Калывока не свергал: перед тем, как впасть в зимнюю спячку, он, опасаясь врагов и претендентов, приказал

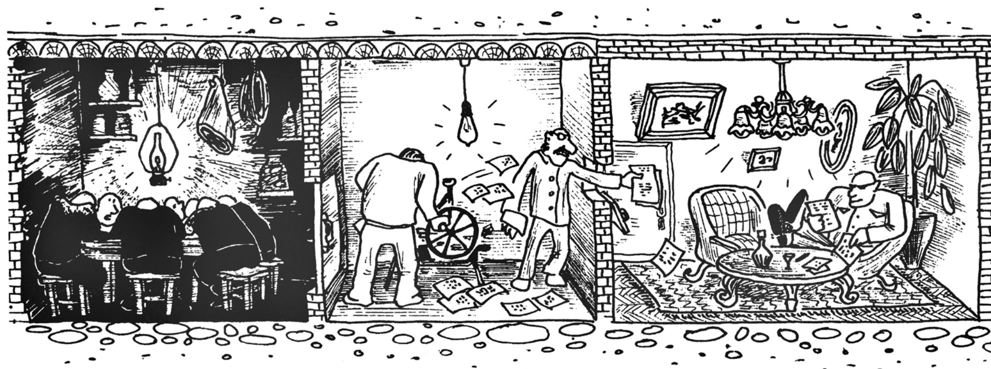
завернуть себя в дюжину ватных одеял и положить в саркофаг из гипсолитовых плит. Когда же мусорщики из особой охраны повелителя взломали саркофаг и развернули одно за другим ватные одеяла, то выяснилось, что их повелитель бесследно исчез, оставив на память о себе одни только блестящие чёрные очки. В связи с тем, что правдоподобных объяснений этому удивительному исчезновению так и не нашлось, ответственность за исключительное происшествие взяла на себя единственная разрешённая в стране подпольная организация подвижников. С этого момента Хитер Смитер вышел из подполья, а все тайные явки организации были закрыты.

В прошлом Хитер Смитер был поэтом, так и не получившим признания. Разочаровавшись в писательстве, он решил, что его истинное призвание — борьба за свободу и независимость хламского народа. Причём главным пунктом его программы было требование позволить ему всенародно взойти на трибуну в чёрной кожаной куртке. Кроме того, он настаивал на необходимости перекрасить Высокий квадратный забор в зелёный цвет и засыпать силами мусорщиков канал, соединяющий Пруд с самим собой.

Именно в тот момент, когда Хитер Смитер сделался политиком, диктатор Смок, несмотря на закон, согласно которому все граждане Хламии объявлялись потенциальными врагами Хламии, начал ощущать острый дефицит той силы, которой он мог бы объявить решительную и непримиримую войну. Поэтому ясно, что за предложение Хитера Смитера о создании подпольной организации по борьбе с существующим режимом Смок Калывок с радостью ухватился. После чего были выбраны два мусорщика для строительства подполья под полом дома Хитера Смитера, а также

утверждён состав подпольного комитета, члены которого принимались на работу и получали зарплату в одном из филиалов Дворца правителей. Там же, под домом Хитера, разместили типографию, издававшую подпольную газету «Возрождение», каждый номер которой редактировался лично Смоком Калывоком.

Узнав, что повелитель страны куда-то бесследно исчез, Хитер Смитер вышел из подполья. Причём глаза его настолько отвыкли от дневного света, что он был вынужден надеть чёрные очки пропавшего. В этих очках он стал так похож на Смока Калывока, что с первого взгляда можно было подумать, будто Смок вовсе никуда и не исчезал. И только хрустящая чёрная кожаная куртка, сшитая из шкуры последней выловленной в Пруду лягушки и немедленно надетая им, отвращала от этой ошибочной мысли.



К ТАКОМУ В БРИГАДУ Я НЕ ПОШЛА БЫ!

Таким образом, очнувшись от зимней спячки, жители местечка узнали, что они стоят на пороге Возрождения. Причесав всклокоченные волосы и старательно вычистив обувь, хламы, все как один, вышли на Площадь. И все как один были в сиреневых шароварах, ибо какой будет их новая одежда, ещё никто точно не знал. Под порывами весеннего ветерка широкие шаровары хламов пузырились и начинали хлопать, как паруса. Вот почему в тот день по всей стране было слышно беспрестанное дробное похлопывание. Однако, несмотря на весь этот праздничный кавардак, настроение у хламов было двояким: с одной стороны, они были довольны, что осточертевший всем образ жизни навеки уничтожен; с другой — было обидно, что такое значительное событие, как Возрождение, началось во время зимней спячки. Причём большинство хламов винило в этом Хитера Смитера и подвижников, не пожелавших своевременно разбудить их. По этому случаю бывшие богемовцы, считавшие себя более талантливыми, чем новый повелитель Хламии, обменивались саркастическими улыбками, не осмеливаясь, однако, сказать вслух то, о чём они думали.

Когда Хитер Смитер взошёл на трибуну, то на некоторое время хруст его чёрной куртки заглушил похлопывание многих сотен сиреневых шаровар. «Ах, это похрустывание напоминает шорох крыльев бабочек, разбуженных весенним теплом», — сошлись во мнении поражённые хламки. И только бывшая аристократка Гортензия Набиванка, недавно вернувшаяся со строительства канала, навела на повелителя неизвестно откуда добытый лорнет и, перекинув сигарету из правого угла рта в левый, пробасила хриплым голосом:

«К такому в бригаду я не пошла бы!» После чего смачно сплюнула на начищенный штиблет Шампанского. Иностранец при этом невольно отодвинулся от неё и рукой, засунутой в карман, потрогал свой заграничный паспорт.

Между тем правитель Хитер Смитер неподвижно стоял на трибуне. Чёрная кожаная куртка красиво облегала его коренастую фигуру. Своё кредо он давным-давно высказал на страницах подпольной газеты, и говорить ему, в сущности, было не о чем. Поэтому он молчал и, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, принимал самые эффектные позы, заставляя хламок глубоко вздыхать и ахать от восхищения. И только в самом конце, когда толпа собралась уже разойтись, Хитер Смитер громовым голосом воскликнул: «Граждане! Сменим сиреневые шаровары на сиреневые платки!» После этого призыва хламы дружно зааплодировали и в едином порыве сорвали с себя сиреневые шаровары. Несколько пар найденных тут же ножниц пошли по рукам, и спустя короткое время на шее каждого из присутствующих на площади красовался сиреневый, завязанный на три узла платок.

ПРОЧЬ С ИХ СТОЛБОВОЙ ДОРОГИ!

Последовательно осуществляя подпольную программу подвижников, Хитер Смитер переименовал проспект имени Смока Калывока в проспект Энтузиастов, а в скором времени организовал и засыпку канала. Для этого мусорщикам были выданы носилки и лопаты. И закипела работа. Мусорщики, обливаясь потом, закапывали треклятый канал, а празднично приодетые, с платками, повязанными вокруг шеи, хламы прогуливались возле них и с каким-то

наивным удивлением повторяли: «Скоро мы построим то, к чему стремились веками!» Разумеется, хламы никогда ни к чему не стремились, тем более веками, однако, очевидно, они полагали, что именно таким образом также участвуют в непрерывном процессе великого Возрождения Хламии.

Тем временем над головами хламов-энтузиастов начал кружиться сияющий, неизвестного происхождения эллипсоидный предмет. Безусловно, само по себе довольно удивительно, когда в воздухе парит серебристый эллипсоид, однако если в это время, в самый разгар Возрождения, происходит историческая засыпка канала — то тогда в этом нет ровно ничего удивительного. И поэтому хламы вскоре перестали следить за реющим над их головами странным эллипсоидом и принялись вновь доказывать один другому: «Теперь каждый из нас — пружина истории!»

А всеми забытый серебристый эллипсоид, радужно сияя, стремительно подплыл к стене Высокого квадратного забора, бесшумно столкнулся с нею, сполз на землю и неподвижно застыл на месте. Через некоторое время поверхность эллипсоида потемнела и начала вздрагивать так, словно его содержимое стремилось выплеснуться наружу. Время от времени из него вырывались тоненькие струйки пара. Стало ясно, что это уже не просто амёбоподобный пузырь, а живое существо. Постепенно пузырь начал двигаться, неуклонно катясь к месту исторической засыпки канала. Благодаря непрерывному движению он утрачивал свою округлость и становился всё более удлинённым. Было очевидно, что изнутри его распирает какая-то сила, но сила разумная. Вскоре из тёплого подвижного пузыря высунулись четыре отростка, которые превра-

тились в руки и ноги. Последней появилась голова с чёрными очками на глазах.

А ещё через минуту никому не известный старик в чёрных очках, громко стуча по мостовой проспекта Энтузиастов своей дорожной тростью, вернулся к тому месту, где происходила историческая засыпка канала, и, пугая хламов своим высокомерным видом, несколько раз продефилировал по бровке канала, как бы невзначай спихивая зазевавшихся в ещё не закопанные ямы. При этом он не просил прощения, а только глухо повторял: «Прочь с их столбовой дороги!»

Вечером бывшие богемовцы, которые снова начали собираться в кабачке «Сердцебиение», по-разному трактовали загадочную фразу надменного старца, однако правдоподобного объяснения так и не нашли.

ВСЁ ДЛЯ МУСОРЩИКА!

Поскольку новое правительство объявило, что всякое мнение имеет право на существование, то сразу же появилась масса таких мнений. Они касались в первую очередь так называемой духовной жизни, или жизни духа, а также знаменитой духовной жажды. И хотя вопрос заключался лишь в том, основываются ли вышеуказанные понятия на реальности или они попытка скрыться от тёмных инстинктов, от пустоты бытия и извечной приверженности хламов к «Горькой полыни», — споры о духовной жажде так захватили всех, что спустя короткое время в стране совсем не осталось хлама, который бы о чём-нибудь не спорил и не отстаивал каких-либо убеждений. При этом ни один не занимался своей обычной повседневной работой. В результате улицы местечка, которые теперь никто не убирал, оказались погребёнными под слоем мусора

и заросли такими сорняками, что под их непроницаемым покровом не было возможности различить, кто и с кем спорит.

Для того, чтобы спасти положение, правительство подвижников создало в одном из помещений Семейного общежития мусорщиков издательство под названием «Всё для мусорщика!». Во-первых, там выпускались произведения каждого, кто работал в издательстве, во-вторых, был налажен выпуск еженедельника «Как работать за семерых». Этот еженедельник предназначался прежде всего для мусорщиков, и, по мысли его основателя, профессора Уха Перекидника, должен был значительно продвинуть вперёд дело Возрождения. Однако мусорщики в большинстве своём были, как и прежде, неграмотны и только молча разводили руками, когда симпатичные работницы издательства приносили им всё новые и новые кипы пропахших типографской краской журналов. Но сказать что-либо вслух они, по старой привычке, не отваживались. На их счастье, издательство «Всё для мусорщика!» после выхода шестнадцати номеров еженедельника из-за недостатка бумаги было самораспущено.

Ключевая роль в деле дальнейшего внедрения Возрождения с этого момента перешла к Фабрике-кухне парадоксальных идей. Там были срочно созданы два новых факультета по изучению богатого политического, гражданского и духовного наследия нового правителя Хитера Смитера. Студенты первого факультета называли себя хитероведами и изучали влияние политических идей лидера подвижников на солнечную активность. Студенты второго факультета, хитерологи, исследовали связь стихов Хитера Смитера и аномалий в толще земной коры. По большинству вопросов между двумя факультетами существовали

острые разногласия. И только по вопросу об использовании «Горькой полыни», ставшей в это время главным государственным дефицитным продуктом, установилось полное единодушие и взаимопонимание.

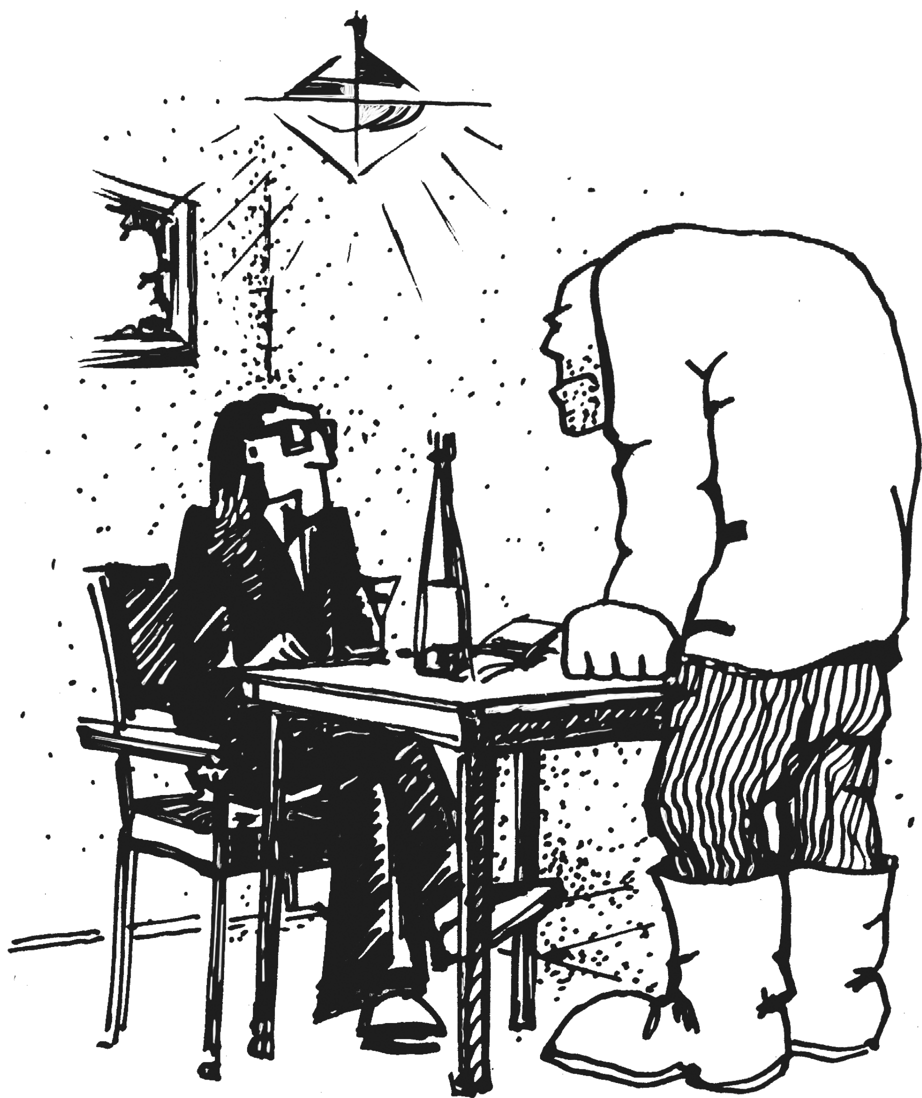
НАМ КАК РАЗ ТАКИХ НЕ ХВАТАЕТ…

Иностранец Шампанский, заказав ещё одну бутылку какой-то плоховатой настойки, поуютней расположился в кресле и раскрыл довольно толстую тетрадь в голубой обложке: «Что нужно хламам для счастья? Немного любви, горстку звёзд над головой, каплю сострадания…» Шампанский насмешливо, но с нескрываемой грустью улыбнулся, ибо эти строки он когда-то написал сам, а тетрадь, которую он держал в руках, была дневником его юности. «Ни отсутствие “Горькой полыни”, ни так называемое Возрождение не помешает мне, иностранцу Шампанскому, отпраздновать как следует мой собственный день рождения, потому что день *моего* рождения — важнейшее из всего, что случалось и будет случаться в этой проклятой стране!» — приблизительно так подумал Шампанский, когда на минуту оторвал взгляд от своей бесценной тетради. В этот момент кабатчик Лажбель, почтительно согнувшись, поставил на стол заказанную бутылку.

— Жизнь, гм, жизнь, — с оттенком сарказма пробормотал Шампанский.

— С днём рождения, дорогой иностранец Шампанский! — Лажбель обрадовался, что Шампанский заговорил с ним, и без приглашения присел за его столик.

Ему было давно известно: раз Шампанский пришёл в кабачок с тетрадью в голубой обложке, значит, сегодня его день рождения.



— Жизнь прожить — не поле перейти, — развил Шампанский свою мысль и, налив себе стопку, тут же осушил её.

После этой фразы он собрался было вновь погрузиться в чтение, но дверь кабачка внезапно с грохотом распахнулась и в зал ворвалась орава подвижников, лохматых и с сиреневыми платками на шеях. Они заказали огромный жбан обычной воды, сдвинули столы, шумно расселись и начали громко обсуждать последний памфлет Хитера Смитера «Общественный мусор, или Общество и его шелуха». Шампанский прислушался и понял, что лидер подвижников утверждает, будто невысокий интеллектуальный уровень мусорщиков в настоящий момент можно повысить лишь путём снижения высокой интеллектуальности хламов-богемовцев. Насмешливая улыбка пробежала по губам иностранца, и, видимо, заметив её, поднялся из-за стола коренастый подвижник, челюсти которого напоминали выдвижные ящики письменного стола.

— Ты, я вижу, интеллигент. Пожалуй, даже иностранец, — начал подвижник, остановившись у столика Шампанского. — Почему бы тебе не перейти к нам? Нам как раз таких не хватает…

— А вот ты — для чего ты живёшь? — не выдержал Шампанский.

Установилось тяжёлое молчание.

— Это не вопрос, — как-то уж очень спокойно спустя некоторое время отозвался подвижник. Затем круто повернулся и направился к своему столу. Челюсти его при этом непрерывно двигались взад-вперёд.

Когда подвижники, забыв расплатиться за жбан воды, ушли, Шампанский тоже поднялся. Настроение было испорчено, и ему хотелось поскорей попасть домой. Но в прихожей кабачка его остановила уже

знакомая квадратная фигура. Зажав между тяжёлыми челюстями самокрутку, его недавний собеседник процедил сквозь зубы:

— Ты зачем меня спросил, для чего я живу?

— Это не вопрос, — утомлённо отозвался Шампанский.

— Так, это не вопрос! — твёрдо повторил подвижник, и тяжёлый, как утюг, кулак опустился на голову Шампанского. Вслед за этим другой утюг проехался по его правому глазу. Перед глазами иностранца заплясали серебристые звёздочки, а затем опустилась глубокая и тёплая тишина.

Когда Шампанский с трудом раскрыл глаза, он увидел перед собой участливо склонённое лицо кабатчика Лажбеля. Схватившись, как за спасательный круг, за шею кабатчика, он кое-как доковылял до уборной. Там он остановился у зеркала, потрогал огромный синяк под правым глазом и скривился от боли. И вдруг ему показалось, что избили его не впервые, что он уже когда-то отвечал подвижнику на его вопрос или на что-то подобное этому. И в тот раз подвижник курил такую же самокрутку.

Неожиданно самокрутка в воспалённом мозгу Шампанского раздвоилась, утроилась — и вот уже перед ним сотня, тысяча, тысяча тысяч самокруток и подвижников, сжимающих их зубами. Все они задают ему один и тот же вопрос и затем кулаками, напоминающими утюги, бьют его по голове. И Шампанскому стало совершенно ясно, что привычка видеть в существующем некую конкретную цель, надежда на то, что Хламия постепенно приближается к состоянию совершенства, — это нахальный самообман, фата-моргана. Нет и никогда не было под хламским небом ничего такого, чего бы уже не было прежде. Как будто уди-

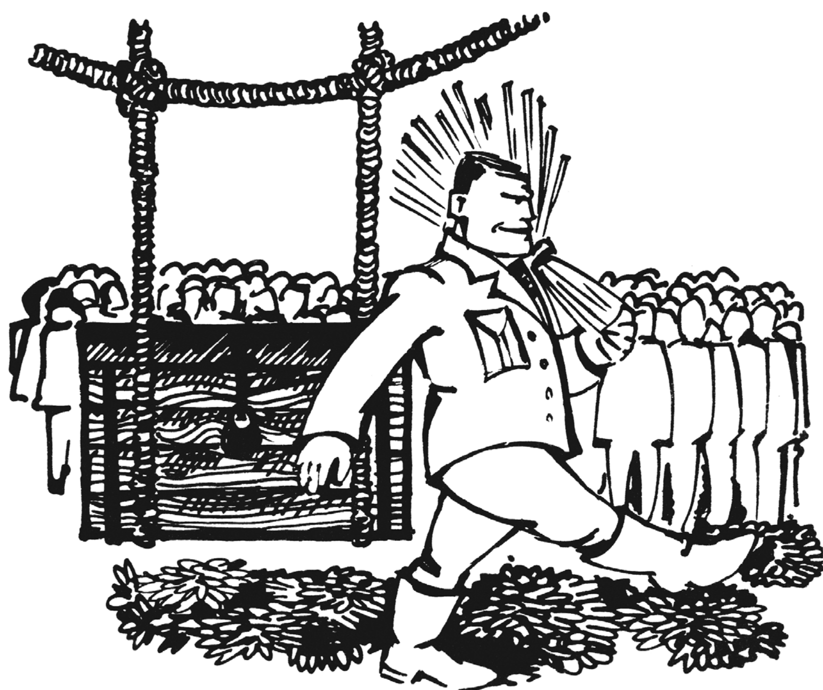
вительная цепь событий и поступков вьётся по земле и бесконечное множество раз пересекает сама себя, и нет у неё ни конца, ни начала… «Круг замкнулся», — прошептал Шампанский, сунул голову под кран и пустил воду.

ХЛАМ ОБЯЗАН БЫТЬ НЕПОДВИЖНЫМ!

Во время одного из горячих диспутов между хитероведами и хитерологами профессор Ух Перекидник заметил: «Уже сам факт существования подвижников предполагает возможность возникновения неподвижников…» А когда непримиримые спорщики, ошеломлённые этой новацией, утихли, продолжил дальше: «Жителей страны, которым испокон веков свойственны неподвижность и безразличие ко всему, кроме “Горькой полыни”, вряд ли удастся вывести из их привычного состояния, ибо, очевидно, то духовное равновесие, в котором они завязли, настолько же непознаваемо, как и понятие “работа”. Пока новоиспечённый повелитель Хитер Смитер, одолеваемый идеей Возрождения, рассуждает о работе, никто из хламов не может понять, что это такое. И сам я удивляюсь, выговаривая слово “работа”, как будто кто-то Невидимый дёргает меня за нити и рот мой открывается и закрывается в такт: ра-бо-та, ра-бо-та».

Первым неподвижником стал всё тот же Смок Калывок, объявившийся в Хламии так же таинственно, как и прежде. Он приземлился перед трибуной Хитера Смитера на воздушном шаре с каким-то ослепительно блестящим предметом на левом плече. Приземлившись, Смок ловко соскочил с сундука, прикреплённого к шару, стряхнул пыль с полувоенного френча и строевым шагом прошёл к трибуне. И тогда





все увидели, что на его плече поблёскивает огромный стальной веник. Один только Хитер Смитер, казалось, не замечает этого. «Фундамент моей программы, — продолжал он, — избавить страну от равнодушных и неподвижных! Ни минуты покоя! Никакой инертности и пассивности!» И только когда Смок Калывок влез на трибуну и стал рядом с ним, Хитер Смитер повернул голову и смерил соперника суровым уничтожающим взглядом. Так, недовольно переглядываясь, они простояли на трибуне достаточно долгое время. И присутствующим на Площади стало совершенно ясно, что они похожи друг на друга, как близнецы.

Разница была разве что в стальном венике да ещё в том, что на Хитере Смитере была чёрная кожаная куртка, а на Смоке Калывоке — полувоенный френч. Кроме того, на лице Хитера Смитера блестели чёрные очки, когда-то принадлежавшие Смоку Калывоку, а Смок Калывок, естественно, был без них, в связи с чем беспрерывно щурил глаза. Однако сами соперники, казалось, не замечали своего необычайного сходства.

— Вода должна быть мокрой! Хлам обязан быть неподвижным! — наконец выкрикнул Смок Калывок и, полюбовавшись произведённым эффектом, добавил: — Основа моей программы — сохранить наши ряды в целости и сохранности! Моё кредо — неподвижность и самоуглублённость! — и в доказательство своих слов Смок с треском разорвал френч у себя на груди, так что позолоченные пуговицы градом посыпались под ноги и без того ошеломлённых хламов.

— Не считайте это пустой похвальбой! Если надо будет пойти на всё, мы, неподвижники, пойдём на всё! — закончил он после эффектно выдержанной паузы и переложил веник с левого на правое плечо.

В этот же день по всей стране прокатилась волна митингов и демонстраций, во время которых, после разрывания рубашек, была сформулирована Первая программа неподвижников:

1. Вернуть Хламию в исходное состояние неподвижности, свойственное ей от природы.

2. Заново прокопать канал, соединяющий Пруд с самим собой.

3. Депортировать всех до единого иностранца, не исключая Шампанского.

4. Объявить Смока Калывока новым и единственным на все времена правителем Хламской империи.

УЗКАЯ ЩЕЛЬ В ВЫСОКОМ КВАДРАТНОМ ЗАБОРЕ

В ночь после прилёта Смока Калывока и массового разрывания рубашек началась страшная гроза: с треском лопались громовые раскаты, вспыхивали зигзаги молний, выхватывая на мгновение из чернильной темноты белые лица переполошившихся хламов, в ужасе вжимающихся в свои постели. Иностранец Шампанский в одном нижнем белье соскочил с кровати и стал запихивать вещи в чемоданы.

Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. И все услышали, как тонко зазвенели стёкла и фарфоровая посуда. Со стен посыпались куски штукатурки. Дико заверещали женщины и, схватив на руки детей, кинулись вон из домов. Земля заходила ходуном, и надо всем раздавался таинственно-зловещий скрежет — это двигались в пазах брёвна Высокого квадратного забора. По счастью, всё это продолжалось недолго, всего несколько минут. Правда, ужас, охвативший хламов, был настолько велик, что они ещё долго не решались разойтись по домам, где в беспорядке валялись брошенные на произвол судьбы вещи.

Поутру между брёвен Высокого квадратного забора была обнаружена длинная узкая щель, вьющаяся по всему периметру и образующая таинственные, похожие на каббалистические знаки. В глубине щели можно было увидеть полупрозрачную густую жидкость, которая, однако, не находилась в состоянии покоя, а беспрерывно пульсировала. Что это было — выяснить никому не удалось. Но самое удивительное заключалось в том, что с краёв трещины сочилось желтоватое водянистое месиво, и спустя некоторое время возле забора образовались светло-жёлтые лужицы с приятным



запахом «Горькой полыни». Наиболее смелые хламы, отважившиеся попробовать месиво на вкус, вскоре стали какими-то не такими: они то беспричинно хохотали, то начинали плакать навзрыд, пытаясь протиснуться в узкую щель в Высоком квадратном заборе. (Многие из них впоследствии покончили жизнь самоубийством.)

КОМУ ВО ВСЕЛЕННОЙ ЖИТЬ ХОРОШО?

Естественно, что подвижники с сиреневыми платками, завязанными вокруг шеи, сразу возненавидели неподвижников в рубашках, наспех заштопанных цветными нитками. И хотя неизвестно, кто из них в кого первым запустил непогашенной сигаретой, оче-

видно, однако, что привычка швыряться горящими окурками возникла из взаимной вражды. Вскоре никто уже не удивлялся, встретив подвижника или неподвижника с опалёнными волосами или пластырем под глазом. И только писатель Свинтарей, вышедший впервые после возвращения со строительства канала прогуляться по проспекту Моралистов-эквилибристов, не переставал удивляться. Он наблюдал, с какой ловкостью заклятые враги забрасывают друг друга окурками, слушал их ожесточённую перебранку, нечто вроде: «Самый лучший неподвижник — это покойник!» или «Когда твой дом будет гореть — хорошо бы руки погреть!» — и с тоской думал, что и одной искры достаточно, чтобы спалить всю Хламию вместе с хламами. Лицо бывшего народного писателя кривилось от сильной душевной боли, но никто из спорящих не замечал ни его самого, ни скорбного выражения его лица.

В ту ночь Свинтарей оказался около ещё не закопанного канала, где когда-то шумели деревья Нескучного сада. Он присел на груду земли, которую, возможно, вытаскивал из канала собственными руками, и жадно вдохнул влажный, пропитанный запахом гниющей древесины воздух. Потом закинул голову и стал созерцать бесчисленные раскиданные по тёмно-синему квадрату неба звёзды. Он, Свинтарей, был для них лишь мельчайшей тёплой пылинкой, и им было всё равно, кто он: мусорщик, народный писатель, подвижник, неподвижник или сам правитель Хламии… Красные звёзды, белые, двойные и одинокие, гиганты и карлики… Свинтарей смежил веки, и перед ним возникли спиральные галактики, что с невероятной скоростью разлетаются в космосе, малиновые облака крабовидных туманностей, загадочные сверхплотные капли материи, от которых родятся вселенные, и опасные

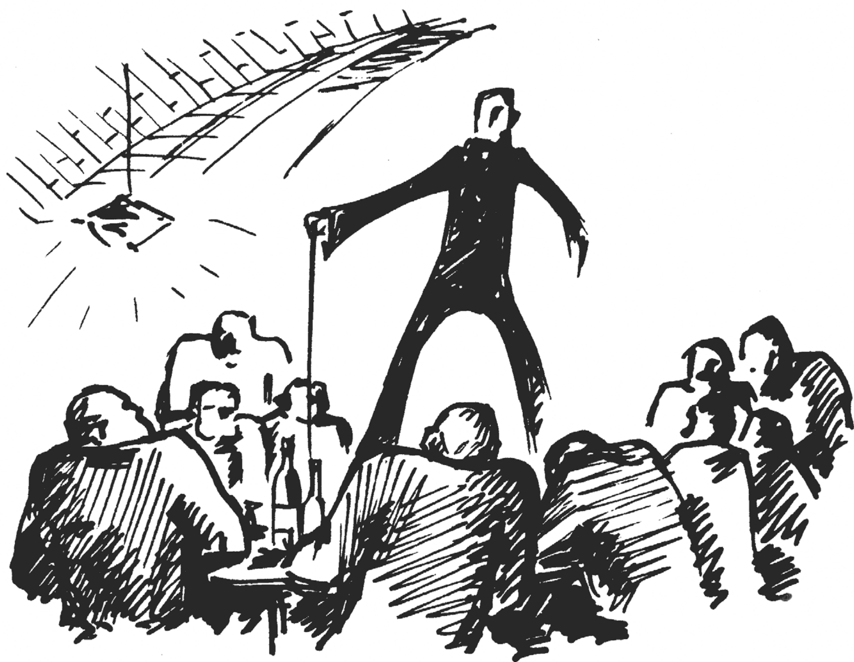
чёрные дыры, вырваться из которых невозможно. Он представил себе вечность в виде бесконечно длинного Высокого квадратного забора, один конец которого начинается в Хламии, а другой исчезает в чёрном бархате ночного неба. В бездонный колодец этот можно войти, но вернуться оттуда нельзя, и никому не дано узнать, где ты и что с тобою.

Свинтарей огляделся: в кромешной темени летали, как светлячки, синие и жёлтые вспышки — это подвижники и неподвижники всё ещё забрасывали друг друга горящими окурками. И ему стало казаться, что одна из опасных чёрных дыр следит с высоты за бурым пятном на голубой планете — пятном, окружённым не таким уж и Высоким квадратным забором.

Вернувшись домой, Свинтарей дописал последнюю страницу своей трагикомедии «Кому во Вселенной жить хорошо?». «Никому» — такое слово можно было прочесть в последней строке на последней странице трагикомедии… Ей богу, хламы ни за что бы не ссорились и не забрасывали друг друга окурками, если бы они могли прочитать великие и в то же время простые мысли писателя Свинтарея.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Кабатчик Лажбель, почёсываясь и вздыхая, сдвигал столы в один длинный ряд посреди зала. Теперь уже было невозможно определить, где тот столик, за которым совсем недавно сидел Шампанский, отмечая свой день рождения; где тот, за которым красовалась аристократка Гортензия Набиванка — ах, как чарующе она улыбалась, обмениваясь мудрёными фразами с художником Крутелем Мантелем; где тот, за которым провел однажды вечер сам Вереня Водаёт, бывший



правитель Хламии; где столик, за которым Хитер Смитер — чтоб ему не дожить до завтра! — читал богемовцам свои красивые и маловразумительные стихи… От этой серой неопределённости Лажбелю стало неуютно в собственном кабачке. Он крепко загрустил и подумал, что вскоре и его кабачок, и он сам, и вообще всё может превратиться в пепел и прах.

Кабатчик Лажбель сдвигал столы, а время мерно отсчитывало минуты, оставшиеся до начала исторической встречи руководителя подвижников Хитера Смитера и лидера неподвижников Смока Калывока. И грустные призраки, густой толпой витавшие над столиками «Сердцебиения», в назначенный час взялись за руки и с беззвучным воплем навсегда покинули кабачок Лажбеля.

Около полудня в кабачке «Сердцебиение» раздался весёлый гомон, который раз за разом заглушало звяканье бокалов и торопливое царапанье вилок. Ещё поздней, как горох, посыпались никому не нужные уверения в вечной любви и дружбе. А под занавес исторических переговоров из-за празднично накрытого стола вылез надменный старец с величественно вздёрнутым подбородком, неизвестно как оказавшийся там. Все так и замерли, услышав постукивание его дорожной трости. Слепец же с лёгкостью вскочил на стол и, переворачивая бокалы с остатками «Горькой полыни», тарелки с объедками и хрустальные вазы с цветами, важно продефилировал перед носом Хитера Смитера и Смока Калывока, уверенно стуча перед собой тростью, как если бы он шёл не по столу, а по каменной мостовой улицы Энтузиастов. Хитер Смитер и Смок Калывок, сидевшие до этого по-братски обнявшись, невольно отодвинулись друг от друга. И все присутствующие на банкете поняли, что дружеская встреча подвижников и неподвижников безнадёжно испорчена, и почувствовали бесплодность и тщету того, чего они пытались достигнуть. И глубокие, густые сумерки, вливающиеся с улицы в оконные проёмы, затопили их души.

ВОТ ДО ЧЕГО МОГУТ ДОВЕСТИ ПРИНЦИПЫ!

Никто не знает точно, откуда взялся огонь. Скорее всего, кто-то из подвижников или неподвижников швырнул в своего врага окурок, а тот из принципа не погасил его. Вот до чего могут довести принципы! Огонь подкрадывался к дому Свинтарея мягко и неслышно, как тигр, почуявший добычу. Вот изголодавшийся тигр лизнул пишущую машинку писателя, и только что отпечатанный лист ярко вспыхнул и

пепельным дождём осыпался на стол. Свинтарей закашлялся, отодвинул от себя машинку и высунулся в окно, пока не охваченное пламенем.

Улицу запрудила гигантская толпа хламов и хламок. Они стояли, взявшись за руки, — точь-в-точь испуганные дети. Они больше не были подвижниками или неподвижниками — непримиримая вражда уже не разделяла их. Вчерашние заклятые враги, охваченные ужасом, глядели наверх, куда поднимался дым и откуда опускалась ноздреватая жёлтая туча. И хотя огонь разгорался, становилось всё холодней и холодней.

Вдруг хохлатые с пёстрым оперением и огненными клювами птицы, обгоняя одна другую и крича, пронеслись над их головами, оставляя за собой огненные следы. И квадрат неба, иссечённый траекториями полёта зловещих птиц, вмиг стал подобен огромной решётке. И тогда что-то загудело и так же внезапно стихло: это рухнул Высокий квадратный забор. Уничтожая всё на своём пути, обрушилась на Страну Хламов неорганическая, подобная киселю масса, всё утонуло в хлещущей круговерти, и никто не спасся. Только бешеные водовороты раз за разом появлялись и исчезали на чёрной равнине да сиротливо колыхалась на волнах чудом уцелевшая тетрадь в синей обложке — юношеский дневник иностранца Шампанского. «Что нужно хламам для счастья? Немного любви, горстку звёзд над головой, каплю сострадания…»

СМЕШНО ТОЛЬКО МНЕ

Народный писатель Хламии Свинтарей, как и все, некогда был молод. Наивный и доверчивый от природы, он перекантовывал бочки с «Горькой полынью», помогая кабатчику Лажбелю в его нелёгком труде в кабачке «Сердцебиение». В дни, когда Лажбель отправлялся в положенный ему по всем правилам отпуск, Свинтарей не без успеха подменял его, разнося «Горькую полынь» (в те времена в изобилии водившуюся в Стране Хламов) на серебряном с чернью подносе. При этом через плечо у него неизменно бывало перекинуто полотенце с вышитыми на нём поперечными красными петухами.

Отец Свинтарея, смолоду бывший мусорщиком, гордился сыном, который, как ему казалось, вышел в люди. Стоя за окном кабачка, отец часто и подолгу разглядывал его, ловкими челночными движениями снующего среди столиков. Впрочем, и Свинтарей в такие дни не заносился и угощал отца чаркой-другой заветной жидкости, никогда, однако, не приглашая его в кабачок.

Отцовская гордость, надо признать, была во многом обоснована, ибо посетителями кабачка числились такие знаменитые хламы, как художник Крутель Мантель, иностранец Шампанский и первая в Хламии красавица аристократка Гортензия Набиванка. Даже сам повелитель Вереня Водаёт долгими осенними ве-

черами частенько проводил время в дружеской беседе с утончёнными представителями хламской богемы.

Мягко теплились свечи, вольно проплывали серые кольца сигаретного дыма, лилась глубокомысленная беседа, и Свинтарей порой не мог отказать себе в том, чтобы на секунду не остановиться и не прислушаться к особенно интересным обрывкам речей, с разных сторон долетавшим до него. В такие минуты ему начинало казаться, что это не он, а кто-то другой разносит посетителям кабачка «Горькую полынь», перекинув через плечо полотенце с красными петухами, — он же, склонив голову на ладонь, важно внимает мудрёным фразам богемовцев. Либо, сидя на месте профессорского сына Гицаля Волонтая, бесцеремонным движением закидывает руку на подлокотник кресла ослепительной Гортензии Набиванки.

В один из вечеров, когда кресло Гицаля Волонтая пустовало, аристократка, сияя лучезарной улыбкой, рассказала Свинтарею, убиравшему со стола пустые бутылки, что она устала от всего и мечтает проглотить двенадцать таблеток люминала и не проснуться. (Конечно, Свинтарей полюбил её не за эту бесконечную усталость ввиду не менее бесконечного однообразия жизни, однако именно в тот незабываемый вечер он узнал про двенадцать таблеток люминала.)

— Ты, должно быть, любишь писать фантастические рассказы? — неожиданно спросила Гортензия Набиванка.

— Гм, просто обожаю, но ни разу не пробовал, — отвечал Свинтарей, разглядывая её красивые ноги.

На другой день он объявил кабатчику Лажбелю, что заниматься унизительной перекантовкой бочек более не намерен, и, получив расчёт, немедленно нанёс визит иностранцу Шампанскому с намерением

выяснить, что такое фантастика. Иностранец, с ног до головы вымазанный зелёной краской, далеко не сразу отложил кисть. На мольберте, установленном посреди кабинета, красовался изображённый с необычайным мастерством кочан капусты. Казалось, он вот-вот скатится с холста и с глухим хрустом ударится о сияющий паркет с чётким крестообразным узором.

— Фантастика? Это когда пишут про то, чего на самом деле не существует, — торжественно провозгласил Шампанский, любуясь своим произведением.

— Гм, ясно, — процедил Свинтарей, в свою очередь покосившись на мольберт. Считая тему исчерпанной, он собрался было уходить, но Шампанский лебединым движением руки добавил ещё один мазок и кинул ему вслед:

— Но чаще фантастика — это когда не умеют писать о том, что есть на самом деле.

— Гм, ясно, — в той же тональности отозвался Свинтарей.

Вскоре простодушный и заботливый Свинтарей, вечно даривший одни и те же букетики розовых маргариток, до смерти надоел аристократке. Однажды, подойдя к известному всякому хламу домику на улице Верности, он услыхал густой мужской баритон, перекрывающий захлёбывающиеся грустью пассажи плоховато настроенной скрипки. Было очевидно, что его место занято. Не зная, что делать с маргаритками, которые он привык вручать аристократке собственноручно, нервно теребя шелковистые лепестки, Свинтарей вдруг понял, что во всей Хламии есть лишь одно-единственное место, куда бы ему хотелось отправиться в эту минуту — кабачок «Сердцебиение». Заниматься битьём стёкол в доме любимой женщины

мог бы, пожалуй, прежний Свинтарей, профессией которого было кантовать бочки. Нынешний же написал своё первое произведение — фантастическую феерию «Смешно только мне».

События феерии разворачивались среди причудливых строений золотистого Матлахона. Главными героями феерии были самолётчики Атландер и Высмал, которые потому и жили, что однажды родились. И они спорили.

— Историю, — орал Атландер, со страшной скоростью вращаясь на тренажёре, — историю фабрикуют идеалисты!

Самолётчик Атландер полагал, что история планеты Матлахон — это последовательный обман идеалистов младшего поколения идеалистами старшего поколения.

— Ты заблуждаешься! — орал самолётчик Высмал, со страшной скоростью вращаясь на тренажёре. — История — естественный и объективный процесс. Это наше сознание не всегда верно отражает его.

— Какой смысл открывать новые планеты, если однажды я всё равно умру? Разве что из любопытства? — хрипел в барокамере под давлением в сотни атмосфер самолётчик Атландер.

— Смерть — это закон природы, — хрипел рядом с ним Высмал, полагавший, что одни матлахонцы живут только для себя и из-за своего эгоизма не могут смириться с мыслью о неизбежности смерти, другие, зная то же самое, живут для потомков, и для них смерть — простой закон природы. Эти последние с удовольствием уступают место на планете молодому поколению.

— В каком смысле? — саркастически хрипел Атландер.

— Скорее в историческом, ибо оба эти варианта правомерны, — хрипел в ответ самолётчик Высмал.

— Чепуха! Твоё так называемое молодое поколение не что иное, как хаотическое мельтешение гигантской расчёски с торчащими во все стороны зубьями, стремглав несущейся сквозь пространство и время, — шептал Атландер, исполняя на скоростной дорожке стремительный бег на месте. — Реальность — это мой внутренний мир, определить который можно лишь серией сопоставлений с иными мирами. Но по сути своей он всё равно остаётся непознаваемым.

— Но ведь для того, кто смотрит на нас со стороны, ты вне своей воли становишься зубцом лишь на первый взгляд распадающейся расчёски, а на деле сам факт её существования говорит только об исчезновении начальной неопределённости и окончательном утверждении и торжестве закономерности, — пританцовывая, шептал семенящий рядом самолётчик Высмал.

После тренировок (с. 224) самолётчики при помощи старенького граммофона слушали любимые песенки и продолжали спорить. При этом Атландер слушал непопулярную песенку «Остановись, мгновенье», а Высмал — популярную «Только вперёд».

За пределами родного Матлахона (с. 225–403), где они искали братьев по разуму, им не удалось обнаружить даже дохленькой бациллы. Впрочем, однажды они сбились с намеченного курса, и внезапно на поверхности незнакомой планеты, куда они высадились, чтобы хвостатые кометы, болиды и космическая пыль не мешали им спорить, наткнулись на жестяную банку с полустёртой этикеткой.

— Следы таинственной цивилизации, — ахнул самолётчик Высмал, и грудь его стала заметно наполняться радостью, смешанной с гордостью.

А Атландер вдруг ехидно рассмеялся.

— Сделано на Матлахоне, — вслух прочитал он полустёртую надпись на этикетке.

— Как жаль, — грустно вздохнул Высмал, — что матлахонцы одни во всей Вселенной бьются над вечными вопросами мироздания, — он задумался, — но мне хорошо на душе, когда я вспоминаю, что где-то там, — Высмал неопределённо махнул рукой, — в этом чудовищно грохочущем космосе, где в вихрях космической пыли сталкиваются и крошатся галактики, кружится себе потихоньку планета Матлахон, наша любимая родина.

— Галактики не крошатся. Они аннигилируют, — меланхолично поправил его Атландер.

Как выяснилось в финале феерии (с. 743), матлахонские самолётчики высадились как раз на своей любимой родине Матлахоне…

Описанной феерией карьера Свинтарея в качестве писателя-фантаста завершилась. Это объяснялось тем, что во времена правления Верени Водаёта лучшей книгой считалась та, которую не прочёл ни один хлам. А этому условию больше всего способствовало такое свойство книги, как её народность.

— Свинтарей, что бы ты сейчас выбрал: любовь Гортензии или священный творческий экстаз? — иронически обратился как-то к знаменитому народному писателю столкнувшийся с ним на улице гений страдания и последний в Хламии романтик Гицаль Волонтай.

— Именно так! — пасмурно отозвался Свинтарей.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

«В Стране Хламов ни о чём нельзя сказать определённо, кроме факта твоей собственной смерти». Так записано в «Заветах Невидимого», святом хламском писании. Однако же кто из жителей Хламии по-настоящему задумывается о необоснованности и шаткости существования и о предначертанной всему живому неизбежности? Все без исключения заняты своими ежедневными делами, и каждый, если над чем и задумывается, так это скорее над тем, как ещё здесь, при жизни, добиться славы, известности или хотя бы определённого признания…

Художник Крутель Мантель проснулся от барабанной дроби по подоконнику распахнутого в ночную сырость окна. «Дождь!» — безошибочно определил он и от души сам себя поздравил, ибо хламы, вообще, любят себя поздравлять. Впрочем, у Мантеля и на самом деле имелась веская причина для этого: накануне он удачно сбыл с рук «Правдоискателей» — картину, которую ещё в прошлом году заказал, но так и не выкупил известный хламский правдоискатель Болтан Самосуй. «Славно я сегодня повеселюсь!» — попытался было улыбнуться Мантель, но рядом зашевелилась его новая подружка Гортензия Набиванка, в домике которой художник теперь постоянно квартировал. «О чём ты думаешь, любимый?» — спросила она и долго

выясняла это, закончив допрос очередной ссорой, прекрасно зная, что утончённый Крутель Мантель подобные вещи просто-таки на дух не переносит. На его лице отразилось выражение тоски, даже боли, и, не выдержав очередного покушения на своё достоинство и свободу, он в одной ночной рубашке, босиком кинулся наружу. «Мне не страшно умереть, мне страшно *уме-реть*!» — простонала ему вслед Гортензия Набиванка.

Как потом выяснилось, весь этот допрос, все эти утончённые пытки были запроектированы Гортензией ради одной только видимости. На самом же деле аристократка жаждала услышать признание Мантеля о задуманном им самоубийстве и, соответственно, прокомментировать его… Ничего странного в этом не было, поскольку Страна Хламов тем и отличалась от прочих государств, что каждый её житель декларирует (а порой и совершает) именно то, что ему кем-то предписано. Каждый подсознательно уклоняется от мысли о неизбежности расставания с жизнью и, нарочно отпугивая её, повторяет, как пластинка, однажды отведённую ему согласно некоему сценарию роль… Но что же делать, если бедное сердце никак не желает успокаиваться?

Стук закрытых дверей показался Крутелю Мантелю прощальной канонадой. Обида и душевный разброд принудили его несколько минут неподвижно простоять на крыльце. Он чувствовал себя обезоруженным и беспомощным перед будущим, которое было заполнено одной только Гортензией. «Я, очевидно, принадлежу к тому заколдованному кругу неудачников, на которых непрерывно сыплются подковы счастья, а в результате остаётся на память лиловый и отвратительный крово-

подтёк. И, вообще, моё сердце — это один сплошной синяк, а те самые подковы расхватали ловкачи, вроде писателя Свинтарея, иностранца Шампанского или профессора Уха Перекидника», — со жгучей язвительностью отметил Мантель и со вздохом вступил в густоватый полумрак Страны Хламов.

«Он шёл и шёл», — размышлял он, имея в виду самого себя, и двигался по направлению к Нескучному саду, ибо, по странному совпадению, в этот момент он действительно шёл по туманной улице Верности, но вот что было и вовсе странно, он непоколебимо верил, что идёт именно туда, куда нужно. В киоске под аркой, которая вела в Нескучный сад, Мантель спросил утренний выпуск «Правдивого хлама» и на первой же странице увидел иллюстрацию проданных накануне «Правдоискателей». Все пятеро хламов на его картине, начиная с легендарного Зазело Карузо и оканчивая его последним преемником Болтаном Самосуем, были выдающимися хламскими правдоискателями. И все они, жадно всматриваясь в даль, слаженным строем маршировали в будущее, размытые контуры которого были выдержаны художником в непривычных коричнево-красных тонах…

Может быть, когда-то его и утешила бы помещённая в газете иллюстрация (как ещё одно свидетельство его неувядаемой популярности), однако нынешний Мантель только скользнул невидящим взглядом по вдохновенным лицам искателей правды и вернул газету в киоск. Сейчас все концы его запутанной до полной бессмыслицы жизни вели к Гортензии Набиванке, и рассечь этот узел могло бы только самоубийство. Однако в Хламии испокон веков ситуация такова, что,

если тебе повезёт случайно застрелиться или утопиться, это скорее всего будет не драма, а комедия.

...Свинцово-матовая поверхность Пруда отчуждённо и вместе с тем притягивающе сквозила через ветви прибрежных кустов. Идти дальше было опасно, и Мантель двинулся в обход по заросшей дырчатыми лопухами заболоченной поляне. Перед Прудом он согнулся, затем побрёл напрямик по вонючей жиже — как раз здесь проходила местечковая канализация — и, наконец, по-пластунски пополз к одинокому прибрежному дереву. И хотя внизу отвратительно хлюпала промозглая грязь, мысль о том, что именно с этой стороны Пруда никто не подстережёт его, придавала ему силы и понуждала к действию. Под деревом он устроился на корточках и прислушался к застывшей тишине, выслеживая того, кто и сегодня мог бы помешать свершению задуманного. Было тихо. Только дождь шелестел в разлапистых лопухах да ветер трепал прибрежные кусты. С дерева срывались холодные капли и, попадая за воротник, неприятно щекотали спину. Противно было, вообще-то говоря, сидеть так, словно вор, скорчившись за стволом, в липкой, перепачканной тиной ночной рубашке. Однако все эти неприятности были мелочью в сравнении с тем, что вскоре должно было произойти и что толкало Мантеля сделать весьма дерзкий шаг.

Надо заметить, что именно здесь, в нескольких шагах от заветного Пруда, а точнее в преддверии окончательной и бесповоротной гибели, Мантель каждый раз испытывал всё то же, хотя и мучительное, но волнующее чувство. Всё сущее вдруг отодвигалось от него, все вещи, как и он сам, тонули в каком-то жёлтом

мареве, и оставался один только безотчётный страх, страх, возникающий независимо ни от чего. И хотя носителем этого страха был он сам, Крутель Мантель, краем оцепенелого сознания он понимал, что такой же страх таится в любом хламе, только вот почувствовать его ледяное дыхание могут лишь единицы, которые осмеливаются отринуть надоевшие узы бытия и сойти туда, откуда никто и никогда не возвращается…

Пруд с двух сторон был надёжно укрыт стенами Высокого квадратного забора, а подойти к нему со стороны Нескучного сада можно было, только сумев пересечь довольно широкую тропу, которая вилась вдоль топкого, окружённого хрустящей осокой берега. Тропу эту протоптал известный хламский борец за свободу и справедливость Болтан Самосуй, смолоду блуждая здесь в надежде кого-нибудь спасти. Ночевал Болтан обычно на скамейке напротив единственного пригодного для купания места, справедливо рассудив, что эстетичный Крутель Мантель, краса и гордость местечковой богемы, который, по его словам, жаждал только чистоты и прелести, вряд ли отважится утопиться в каком-нибудь другом месте.

Но в это утро знаменитый правдолюбец Болтан Самосуй явно допустил ошибку. Хотя избранная Мантелем тактика и не соответствовала высоким порывам его же натуры, он, будучи столько раз нахально обманут, был готов на всё, лишь бы припасть наконец к жгуче-холодной груди неотвратимо влекущего его в свои глубины Пруда. И потому он вытянул из дупла припрятанный им накануне увесистый кирпич, медленно выпрямился, внимательно осмотрел тропу, которую упорно поливал весенний дождик, в последний раз полной грудью вдохнул влажную хламскую атмосферу и смело бросился вперёд.

В ту же самую секунду из гущи прибрежных зарослей наперерез ему беззвучно вынырнула длинноногая, в высоких резиновых сапогах и чёрном пыльнике фигура Болтана. Крутель Мантель, вздрогнув от неожиданности, поскользнулся на мокрой глине, смешно взбрыкнул ногами и как-то неловко, боком, шлёпнулся на землю.

Болтан Самосуй помог самоубийце подняться и заботливо подвёл его к скамейке. Усевшись на неё, спаситель и спасённый просидели довольно-таки долгое время, прислонившись плечом к плечу. Не обронив ни слова, наблюдали они, как лопаются на поверхности Пруда пузырьки. После того, что произошло, Мантель чувствовал себя неважно, ныл ушибленный бок, тело наливалось нудным изнеможением и вялостью. «Не вывернуть вам наизнанку боли: она сплошная, круглая, как шар...» — вспомнились какие-то из тех редких строчек Хитера Смитера, которые нравились Мантелю.

— Только наедине со смертью, вернее небытием, я изредка могу побыть самим собой, — признался он и прикусил язык. Но было уже поздно.

— Никто не мог бы оспорить, что грустно глядеть на мир чужими глазами и что самый худший сорт одиночества — это одиночество в толпе. Однако, как глубокий знаток, я не могу снисходительно относиться к таким, как ты, ибо суицид — а я беспрерывно размышляю о роли самоубийц в жизнедеятельности хламского общества — это пассивный протест. Утверждать свою личность нужно по-другому: в ежедневном усовершенствовании, в желании стать живым воплощением добра и справедливости...

Сказав так, правдолюбец Болтан Самосуй дружелюбно улыбнулся Крутелю Мантелю. Но даже и такая

или подобная ей улыбка на Хламской земле поневоле превращается в попытку как-нибудь не состроить трагическую гримасу, ведь подобная гримаса, в свою очередь, лишь неважный грим на бледном от природы лице актёра-бедолаги. Дело-то происходит в стране, где тобой заинтересуются, только если ты отчего-либо внезапно умрёшь или, по крайней мере, покончишь с собой.

— Думаю, сейчас ты уловил, как укрыться от искушения прекратить все счёты: не выпячивать одну только эту порочную чёрточку своей натуры… — толковал между тем Болтан, но Мантель слабо понимал, о чём это он ведёт речь, да, впрочем, как и сам советчик.

Во время пространной Болтановой речи дождь наконец унялся. Пепельно-серая окрестность наполнилась нежным бледно-розовым свечением. На ветвях дрожали капли влаги. Сладковатый запах первой зелени, смешанный с ароматом ожившей почвы, щекотал нос, слезил глаза. Негустые ещё кроны Нескучного сада сделались прозрачными, и над ними запорхали огнистые бабочки и изумрудные лупоглазые стрекозы. Над бабочками и стрекозами стремительно проносились чёрные лохмотья туч, а ещё выше, в проходах между ними, неспешными улитками проползали жёлтые ноздреватые облака. «Что-то малопонятное просочилась в Страну Хламов. Не сама ли это её Величество Вечность?» — мелькнуло в голове Крутеля Мантеля, когда в этих жёлтых облаках засияла омытая дождём латка синевы. И его недавняя заинтригованность зияющей бездной Ничто почему-то испарилась и уступила место тихой торжественности и мягкому позыву нарисовать увиденное…

— Могу я себе такое позволить? — оборвал Мантель очередную проповедь своего спасителя, резко поднялся

со скамейки и исчез в трепетном дрожании Нескучного сада.

«Что-то малопонятное просочилась в Страну Хламов. Не сама ли это Вечность?» — пробормотал писатель Свинтарей и, завершив последний аккорд на клавиатуре пишущей машинки, закончил очередную главу своего очередного романа. После чего подозвал кабатчика Лажбеля и с его помощью затолкал пишущую машинку в вещевой мешок.

— Могу я себе такое позволить? — этим поставленным ребром вопросом ответил он на любопытные взоры посетителей кабачка, выходя из «Сердцебиения» на свежий воздух.

Новый роман, над которым Свинтарей трудился всю предыдущую ночь, не удовлетворял писателя. Не было в нём настоящих глубоких отношений между героями, не было ни капли тёплого чувства или сердечной доброты. Автор словно умышленно заслонялся от всего чувственного и, болезненно сгущая краски, во всём выискивал и находил нечто издевательское, какой-то ничем не обоснованный фарс, дешёвые парадоксы ради самих парадоксов. Он зло шутил над хламами, с которыми был в приятельских отношениях, насмехался над некогда любимой им женщиной. Кроме того, роману не хватало правдивых описаний и необходимой продуманности сюжета. Да и главная тема — суицид — была, по существу, не раскручена. Легкомысленно-фривольные пассажи на этот счёт создавали впечатление, что их автор не убелённый сединою хлам, а ершистый юнец, который ни разу в жизни не встречался с тлетворным дыханием настоящей смертельной опасности, которое только и придаёт жизни надлежащую цену.

В киоске под аркой, открывающей вход в Нескучный сад, Свинтарей спросил последний выпуск «Правдивого хлама». На первой же странице ему бросилась в глаза цветная иллюстрация картины Крутеля Мантеля «Правдоискатели». Все пятеро из нарисованных на картине хламов были знаменитые правдоискатели, слаженным строем марширующие в туманную даль. «Крутель Мантель совершенствуется, — не без улыбки подумал Свинтарей, — хотя и в его работах через всё наносное просматривается натурально-насмешливое отношение к жизни и клоунская ухмылка надо всем, что для хламов свято».

В Нескучном саду писатель устроился как раз на той самой скамейке, где недавно сидели плечом к плечу правдоискатель Болтан Самосуй и художник Крутель Мантель. Сладковатый запах первой зелени, смешанный с ароматом ожившей почвы, щекотал Свинтарею нос, слезил глаза и мешал сосредоточиться. Писатель припомнил свой уютный столик в «Сердцебиении», заткнул уши ватой и, поставив пишущую машинку на колени, застрекотал по её отполированным клавишам:

«Со стороны Нескучного сада до слуха Крутеля Мантеля долетело непрерывное шарканье и гомон гуляющих хламов, которые высыпали на вечернюю прогулку. В воздух то и дело взлетал и лопался в нём трескучий фейерверк глупостей, который, впрочем, имел то преимущество, что не оставлял следов. Крайне опустошённый и равнодушный ко всему неудачник-самоубийца брёл под снова затянутым тучами небом и какими-то отстранёнными глазами видел, что дождевые струйки, которые тянулись к тротуару, — это никакие не струйки, а нитки в руках Невидимого и что Невидимый дёргает их — и всё приходит в движение. И сам он, и все прохожие, словно марионетки,

фальшиво улыбаются, кивают друг другу головами, обмениваются бессмысленными репликами…

Они встретились на всегдашнем своём месте, под аркой, которая вела в Нескучный сад. Хламы, которые заранее собрались здесь, замерли в ожидании. Гортензия смотрела на своего избранника с обычным восхищением в глазах, с тем восхищением, какое удаётся порой отразить на лице хламке, близкой по духу к богемовцам, и какое, несомненно, свидетельствует о глубинной сущности её обладательницы. Хламы ждали, и неповторимая Гортензия Набиванка бросилась своему идеалу прямо на шею. Но промахнулась, потому что от чрезмерного использования лорнетки — непременной детали новой хламской моды — плохо ещё ориентировалась во времени и пространстве. “Как невыносимо быть идеалом вообще, а быть идеалом самой Гортензии Набиванки — невыносимее втрое. Это всё равно как ежедневно балансировать на канате, натянутом над пропастью, куда в каждую секунду можно свалиться и угрохаться насмерть”, — хотел было сказать Крутель Мантель писателю Свинтарею, помогавшему Гортензии Набиванке подняться с тротуара, но запутался в собственных словах и тоже, возможно, упал бы, если бы Гортензия не поддержала его взглядом, полным восхищения и любви.

На этом представление закончилось, и все разошлись по домам».

«На этом представление закончилось, и все разошлись по домам», — таким предложением завершил Свинтарей свой новый роман «Скованные одной цепью». И ему легко было об этом писать, потому что его былая подружка, ослепительная Гортензия Набиванка, к счастью, досталась другому избраннику.

КАЖДЫЙ ПРОЩАЕТСЯ ПО-СВОЕМУ

В это утро Гицаль Волонтай сбросил с себя одеяло именно тогда, когда первый мусорщик прогрохотал по улице своей железной тележкой. Опустив на пол ноги, последний романтик со стиснутыми зубами пасмурно-безнадёжно оглядел башмаки с комьями непросохшей за ночь глины. Скривившись, натянул влажные полотняные штаны. Затем, сопя от напряжения, вытащил из-под кровати огромный зеленовато-коричневый рюкзак, туго набитый различными вещами, отдельные части которых, высовываясь наружу, позволяли сделать вывод о их предназначении: штык короткой сапёрной лопатки, рукоятка альпенштока, полушарие походного котелка. Угрожающе оскалились острия стальных когтей, какими пользуются мусорщики-монтёры, когда залазят на деревянные столбы.

Надев на себя тяжёлый рюкзак и под его весом слегка наклонившись вперёд, Гицаль Волонтай направился прочь из собственного дома. Был ранний час. Туман не рассеялся, и сероватый сумрак, как пелерина, лежал на всём, придавая окрестности неестественный призрачный вид. Тишина, нарушаемая только его шагами, казалось, напрочь исключала возможность громких звуков и резких движений. Застывшая на одной ноте, эта тишина недовольно следила за маленьким хламом, замахнувшимся на её безграничное господство.

Внезапно ещё одна небольшая фигура вынырнула из утренней мглы и начала неторопливо приближаться. Кто-то ещё, встав ни свет ни заря, очевидно имел намерение совершить нечто неотложное. Согнувшись под тяжестью бочки с «Горькой полынью», прямо на Гицаля, глядя на него исподлобья, шёл кривоногий с чёрной окладистой бородой хлам по имени Чурила. Разойтись на узенькой улочке Тонких-до-невидимости намёков было попросту невозможно.

— Ухожу я от вас, — промолвил последний романтик и поправил лямку свесившегося набок рюкзака. — Навсегда.

Утомлённо присев на бочку, Чурила завистливо покосился на туго набитый полезным содержимым рюкзак.

— Добрый у тебя инструмент, — сказал он, помолчав. — Поменяться не желаешь? — И костяшками пальцев постучал по бочке, отозвавшейся глухим недовольным урчанием. — Хочу вот поставить себе забор, а, сам знаешь, ничего нельзя достать.

— Это не выход, — заметил Гицаль и таинственно устремил взгляд куда-то высоко-высоко в небо. Лоб его пересекла горестная складка, первая вестница высокой меланхолической печали.

— Ну, бывай, — без связи с предыдущим обронил он.

Спустя пару минут они уже были далеко друг от друга.

Около особняка иностранца Шампанского последний романтик остановился. Стремительно вытерев ноги, он постучал в дверь с массивной бронзовой ручкой. Ответа не последовало, однако Гицаль Волонтай без колебаний вошёл и поднялся по тёмной лестнице

в приёмную. Судя по всему, этот путь ему доводилось проделывать не раз.

Шампанский неподвижно сидел на своём обычном месте — в кресле перед камином. На коленях его покоилась объёмистая тетрадь в голубой обложке, густо исписанная ровным мелким почерком. Глаза иностранца были прикованы к картине, висевшей под старыми настенными часами. На ней с удивительным правдоподобием был изображён кочан капусты.

— Ухожу я от вас, — вместо приветствия пробасил последний романтик.

Веки иностранца, вокруг которых залегли синие тени, дрогнули, однако взгляд его оставался неподвижным. Гицаль Волонтай, крякнув, сбросил рюкзак на пол и присел на него. Звяканье металлических предметов вывело Шампанского из состояния прострации. По лицу его пробежала как бы лёгкая зыбь, запульсировала голубая жилка на виске.

— Там всегда дует тёплый ветер и всё залито ослепительно-белым горячим солнцем… — словно в сомнамбулическом трансе пробормотал он.

— А мне как раз туда и надо! — подхватил последний романтик.

Окончательно очнувшись, иностранец брезгливым взором окинул огромный рюкзак и сидевшего на нём Гицаля.

— Там, куда ты рвёшься, всё точно такое, как здесь. За Высоким квадратным забором скорей всего ещё один забор, ничуть не меньше, а за ним — ещё. И так до бесконечности… Настоящий мир таится внутри нас, а снаружи — мираж, проекция, театр теней, пантомима пантомим…

Слова, как сухие листья, слетали с его губ, и это был настоящий листопад. Утонув в этой круговерти,

Гицаль с озабоченным видом стал вытаскивать из рюкзака верёвочную лестницу. Резкие удары настенных часов заставили иностранца вздрогнуть, и, не промолвив более ни слова, он подошёл к картине и начал старательно стирать с неё пыль. Гицаль тем временем силился закинуть за спину рюкзак, однако самостоятельно сделать это ему не удавалось. Шампанский, прервав своё занятие, подошёл к нему, помог надеть рюкзак, заботливо подвёл к окну, которое сам же и распахнул перед ним. Гицаль молча зацепил конец верёвочной лестницы за нарочно вбитый для этой цели крюк и начал неторопливо спускаться. Когда он наконец достиг земли, Шампанский отцепил лестницу и аккуратным движением скинул её вниз, промолвив:

— Там, где бываю я, обходятся без лестниц. Впрочем, ни пуха ни пера!

С этими словами он с грохотом захлопнул ставни.

Может показаться странным, но Гицаль Волонтай нежно любил своего отца. В таком утверждении не было бы ничего невероятного, однако следует уточнить, что отцом последнего романтика был знаменитый профессор ФКПИ Ух Перекидник.

Главной особенностью Уха Перекидника была его чрезмерная приверженность принципам и идеалам, хотя, в сущности, нельзя утверждать, что идеалы и принципы — это нечто изначально порочное. Более того, считалось, что хлам, не обладающий ими, в общем-то, вовсе и не хлам, а какая-то ошибка природы. Однако чаще всего случается так, что тот, у кого слишком много идеалов и принципов, не только не живёт сам, но и мешает жить другим. Вот и профессор Ух Перекидник при каждом удобном случае вытаскивал на свет свои сильно побитые молью идеалы

в качестве последнего аргумента и вертел ими то так, то этак в зависимости от обстоятельств. Поэтому не исключено, что по воле рока став сыном такого отца, Гицалю ничего другого не оставалось, как сделаться ошибкой природы, гением страдания и последним в Хламии романтиком.

Тем не менее горячая сыновья привязанность к отцу, которую кое-кто тоже считал ошибкой природы, не угасала. Потому неудивительно, что, когда перед Гицалем Волонтаем выросло величественное здание Фабрики-кухни парадоксальных идей, сердце его учащённо забилось. В этот ранний час занятия в ФКПИ были в самом разгаре. Из распахнутых окон аудиторий доносился глухой и гнусавый, но дорогой для Гицаля голос отца: «При произношении звука "у" рот раскрывается чуть меньше, чем при произношении звука "о", губы ещё больше вытягиваются вперед — хоботком, корень языка выше поднимается к нёбу, кончик языка ещё дальше отходит от зубов…» Самого профессора в аудиториях, разумеется, не было, да и быть не могло: голос его с безусловной точностью воспроизводил репродуктор.

Гицалю было известно, что во время занятий профессор дремлет в своём маленьком кабинетике на самом последнем этаже академии. Достав из рюкзака когти, последний романтик долго и старательно прикреплял их, возясь с многочисленными пряжками, застёжками и ремешками. Справившись с капризным приспособлением, он заковылял к водосточной трубе, причём когти оставляли на мягкой земле кривые, напоминающие медвежьи следы. Зацепившись за трубу, Гицаль начал головокружительное по смелости восхождение к своему отцу.

Труба, выкрашенная в серебристый цвет, вибрировала у него под руками, а тяжёлый рюкзак предательски перекатывался с боку на бок и в любую секунду мог отшвырнуть отважного романтика на булыжник улицы Цветных мыслей. Хламки, сидевшие в аудиториях, словно загипнотизированные, не отрывали от него взглядов, полных восхищения и страха.

Наконец, лоб его прижался к стеклу, за которым — Гицаль не сомневался в этом — на диване дремал его возлюбленный родитель. Зацепившись за жёлоб спасательным поясом, романтик негромко постучал в окно и глухим, прерывающимся от волнения голосом промолвил:

— Папа, открой. Это я!

Послышался старческий кашель, лязгнула защёлка, и ставни со скрипом отворились. В оконном проёме возникло заспанное лицо профессора Уха Перекидника.

Оглядевшись, профессор увидел сына, который с рюкзаком за плечами неловко висел на водосточной трубе.

— Ну чего тебе? — недовольно спросил он.

— Ухожу я, — слегка покачиваясь на ветру, грустно сказал Гицаль. В его глазах что-то подозрительно блеснуло. — Навсегда!

— Ты уезжаешь в тяжёлый для державы час, сын мой, — торжественно вскинув над головой руку, объявил профессор. — Тут наша Родина, и мы не вправе покидать её в суровую годину испытаний. — Помятое лицо профессора свидетельствовало о сладком отдыхе, от которого его оторвал неожиданный визит сына. — Ты видишь, как тёмные силы, объединившись, рыча, как злобные псы, точат зубы на всё, что для нас свято. Знай же, что есть долг, совесть, идеалы, принципы,

отречься от которых в такую минуту для настоящего патриота было бы позором! — Последнюю фразу профессор не выговорил, скорее, проревел. — А гнусным выродкам, обнажившим клинки сепаратизма, пощады не будет. Земля Хламии — священна и неделима!

Всё сказанное вызывало невольное недоумение, ибо, насколько было известно Гицалю, в настоящее время Хламии ни снаружи, ни тем более изнутри никто не угрожал. Удивительно было и другое: произнеся свою пламенную тираду, профессор не пригласил сына в комнату, а так и стоял у окна в тапочках, почёсывая время от времени левой ногой правую, чего Гицаль, которому мешал подоконник, видеть не мог. А скажи профессор: «Куда ты собрался, сынок?» или хотя бы: «Ни пуха ни пера!» (как Шампанский), — так ему, быть может, и не захотелось бы никуда уходить.

Ставни захлопнулись. На том месте, где недавно находилось лицо отца, расплылось белёсое пятно, имевшее контуры лица вовсе не профессорского. Худощавое, с резкими чертами, оно было обрамлено узенькой седой эспаньолкой. На незнакомце красовалась бархатная, конусообразная шапка. Короткие и длинные морщины вдоль и поперёк пересекали это ужасное лицо, свиваясь в причудливую вязь криптограммы. Тонкие и неестественно алые губы беспрерывно двигались, но слов не было слышно, а только кто-то как бы чертил в мозгу Гицаля раскалённые слова: «Всё это бесконечное конструирование — бессмысленная концентрированная попытка хоть чем-нибудь оправдать животный страх перед жизнью. Схоластические гипотезы, самые утончённые доказательства не имеют ничего общего с тем, что совершается здесь и теперь. За их оболочкой — тот самый убогий и примитивный

страх существования, пустота бытия, пустота, которая боится самой себя, своего самопроникновения…»

Одновременно из окон аудитории, находящейся где-то под ногами последнего романтика, вылетали и уносились ветром размноженные репродуктором обрывки лекции: «Чтобы почувствовать, как работают косые мышцы живота, положите ладонь на его верхнюю половину и трижды прокашляйтесь…»

Она жила в маленьком двухкомнатном домике, который делил с ней её теперешний друг художник Крутель Мантель. Гицаль Волонтай легонько постучал в обшарпанную ставню, закрытую, несмотря на дневной час. Хотя стук был очень слабым, Гортензия Набиванка, несомненно, сразу догадалась, что это был именно он. Гицалю даже не удалось сообщить ей, что он уходит навсегда: поняв всё без объяснений, она с размаху кинулась ему на грудь, больно уколов его при этом орденом Почётного Легиона, который с недавних пор носила в качестве украшения. В Хламии Гортензия считалась законодательницей мод, и сейчас она, в отличие от прочих хламок, щеголяла в галифе с красными лампасиками и в неком подобии полувоенного френча с настоящим орденом Почётного Легиона на груди.

— Возьми меня с собой, умоляю, — горячо зашептала она. — Я больше не могу с ним, — она кивнула себе за плечо. — Абсолютно законченный идиот, к тому же совершенно не разбирается в живописи. Не может отличить себя раннего от себя же позднего. Выдохся, утратил чувство колорита, не картины, а сплошная мазня…

Через минуту последний романтик, даже не успев снять рюкзак, уже сидел на краю скрипучего неза-

стеленного дивана рядом с аристократкой. Тут же, завернувшись в порыжевшее от долгого использования одеяло, из-под которого торчали босые пятки, посапывал тот, о ком только что отзывались столь нелестно. На столе около дивана возвышалась целая гора немытой бог весть с каких времён посуды. Повсюду были раскиданы окурки, и всё утопало под густым слоем пепла вперемешку с пылью.

Закинув ногу за ногу, аристократка брезгливо протянула руку и, стараясь не касаться стола, разлила в мутные рюмки каким-то чудом уцелевшую «Горькую полынь».

Выпили. Закурили. Гортензия Набиванка беспрерывно стрекотала, не давая Гицалю вставить ни слова. Спящий повернулся на другой бок. Собеседница романтика на секунду умолкла и, воспользовавшись паузой, он быстро выдохнул:

— Ну, пойдём, что ли?

— Не могу я его бросить. Пропадёт он без меня, — с горечью вздохнула Гортензия, пустив струйку дыма в неподвижное тело художника. — И притом он меня по-настоящему любит. Я стимулирую в нём чувство прекрасного. А живопись, сам знаешь, — это такое искусство, выше которого нет ничего. — Она сделала глубокую затяжку. — Но ты должен верить мне в память о том, что было между нами…

И она горячо прильнула к его груди, вторично уколов его орденом Почётного Легиона.

Рюмка «Горькой полыни», выпитая на голодный желудок, подействовала именно так, как можно было ожидать. И естественно, что следующим местом, куда отправился Гицаль с целью попрощаться, был каба-

чок «Сердцебиение». Оказавшись за своим столиком, романтик извлёк из кармана штормовки довольно помятые чертежи и, разостлав их на столе, начал внимательно изучать. В серых кольцах сигаретного дыма, медленно плывущих над головами посетителей, он напоминал капитана, который отмечает на карте маршрут своего плавания, делая одному ему понятные пометки. Однако на его таинственное занятие никто не обращал внимания, и только кабатчик Лажбель, поставивший перед ним бутылку «Горькой полыни», вежливо улыбнулся и по своей давней привычке спросил:

— Как живёшь?

— Ухожу я от вас, — не отрывая взгляда от чертежей, на которых, судя по всему, изображалась схема Высокого квадратного забора, отозвался последний романтик и, сделав ещё несколько важных пометок, глухо добавил: — Навсегда.

Кабатчик, однако, так и не услышал этой последней фразы: широко улыбаясь и расставив руки, он поспешил навстречу народному писателю Хламии Свинтарею, входящему в зал во всём горделивом великолепии своих седых писательских волос и национальной хламской свитки. Сев неподалёку от Гицаля, писатель жадно накинулся на клавиатуру пишущей машинки. По залу полетело сухое дробное пощёлкивание. Именно в это время он завершал трилогию «Скованные одной цепью», срисовывая её, так сказать, с натуры.

Прерывистое стрекотание Свинтареевой машинки послужило сигналом музыкантам, и, дружно взявшись за инструменты, они наполнили зал замысловатыми пассажами древнего хламского гимна. Закружились

и зашаркали башмаками танцующие пары. Губы последнего романтика скривились в презрительно-насмешливой улыбке. Свернув чертежи, он засунул их назад в штормовку, а затем, перебросив руку через плечо, вытащил из рюкзака альпеншток.

— Вот так бы взять да и покончить со всем! — безотносительно к кому-либо, но достаточно громко вымолвил он. Забывшись, Гицаль с размаху всадил альпеншток в стол. Раздался деревянный хруст. Щёлкнула в последний раз пишущая машинка. С жалобным хрипом захлебнулся на самой высокой ноте хламский национальный гимн, и последний романтик почувствовал, что все взгляды устремлены на него.

Он гордо выпрямил спину, но тут тяжёлый рюкзак перевесил и потащил его на пол. Гицаль понял свою ошибку, но было слишком поздно. С быстротой молнии его ноги мелькнули над столом, а затем и сам стол с грохотом опрокинулся.

Услужливый кабатчик Лажбель помог последнему романтику подняться. Опираясь на его плечо и слегка прихрамывая, Гицаль заковылял к выходу. Только в дверях он остановился и хмуро промолвил:

— Альпеншток!

Кабатчик немедленно кинулся назад и вернулся с альпенштоком, который был водворён на своё обычное место. Оказавшись на улице, Гицаль Волонтай закрыл ладонью глаза и простоял так несколько минут.

Довольный вид Чурилы, который, держа под мышкой какой-то ящик, дружелюбно улыбался ему, больно резанул Гицаля, хотя причина улыбаться у Чурилы была: у него под мышкой находился инструмент, только что выменянный в Семейном общежитии мусорщиков на бочку «Горькой полыни».

— Ты куда? — по-дружески обратился Чурила к последнему романтику, с искажённым от боли лицом стоящему перед дверями кабачка.

Было совершенно очевидно, что сошлись два антипода. И хотя у каждого имелся набор инструментов, предназначались они для диаметрально противоположных целей. Если Сугней Чурила задумал отгородиться от всех, поставив вокруг своей усадьбы собственный квадратный заборчик, то последнему романтику и гению страдания Гицалю Волонтаю был ненавистен сам вид Высокого квадратного забора, и он намеревался перелезть через него с помощью альпенштока, верёвочной лестницы и стальных монтёрских когтей. (Здесь необходимо отметить, что когтями последний романтик владел довольно хорошо, облазив с их помощью деревья, растущие вдоль бульвара Обещаний.) Поэтому неудивительно, что Гицаль смотрел на Чурилу с сожалением, как на хлама, задумавшего совершенно безнадёжное предприятие.

Чурила же, не способный оценить всё величие замыслов последнего романтика, испытывал по отношению к нему нечто вроде симпатии. Это объяснялось тем, что он вообще по простоте своей натуры уважал хламов, что-либо понимающих в инструментарии. И потому спустя некоторое время антиподы в обнимку выходили из кабачка, причём у одного из них за спиной болтался рюкзак, а у другого из-под мышки торчал ящик с инструментом. Горланя песню, добрались они до дома Болтана Самосуя, великого борца за всеобщее равенство и справедливость. Перед тем, как расстаться с романтиком, Чурила долго склонял его к тому, чтобы тот отдал ему альпеншток или хотя бы монтёрские когти. В один из моментов Гицаль уже собрался было расстаться не только с альпенштоком,

но и с рюкзаком со всем его содержимым. Лишь мысль о том, сколько бессонных ночей он провёл, сплетая верёвочную лестницу, сколько сил положил на обдумывание и реализацию плана побега из Страны Хламов, укротила этот душевный порыв. Вмиг посерьёзнев, он тихо промолвил:

— Ухожу я, — и нерешительно добавил: — Навсегда.

Знаменитый правдолюбец Болтан Самосуй в этот вечер переплетал в картонную обложку рукопись своего единственного трактата «Справедливость и пути достижения оной». Сделав последний стежок, Болтан с удовлетворением взвесил на руке объёмистый том — плод своих глубоких раздумий и великих предвидений о будущем хламского народа.

— Вот это и спасёт Хламию! — торжественно объявил он, поворачиваясь к Гицалю, сидевшему по другую сторону раскрытого сундука.

— А что спасёт меня? — Гицаль вскинул на Болтана унылый, полный безнадёжности взгляд.

— Как ты вообще можешь думать о себе в такой ответственный и решающий для всего сущего час? Неужто не знаешь, что в самом сердце Космоса пролегла нынче невидимая трещина, поделившая живое на чёрное воинство Скаламбухи и белое воинство Невидимого? И тебе, мой юный друг, самое время определить, в чей стан перейти, кому принадлежать. Именно в этом и заключается твоё, вернее, *наше* спасение. Ибо знай, что через того, кто сегодня не решается сделать выбор, неизбежно пройдёт та трещина и в конце концов уничтожит его…

Глаза правдоискателя горели огнём священного экстаза, и было очевидно, что сам он уже сделал выбор и целиком принадлежит именно тому воинству, которое

в любой момент готово смести с лица Космоса тёмные силы хаоса и зла. Гицаль же чувствовал себя как утопленник под многометровой толщей воды, а слова, с которыми к нему обращался Болтан, вызывали лишь слабую зыбь на поверхности этой толщи. Однако, как ни странно, чувство, что собеседник ничем по существу не отличается от него, не покидало последнего романтика. Ту самую, мёртвую, безразличную ко всему, тишину он безошибочно угадывал и под пламенной оболочкой Болтановых речей. Разница состояла лишь в том, что Гицаль покорно принимал её, а Болтан вёл с ней ожесточённую войну, опасаясь и одновременно принимая её. И было бессмысленно — Гицаль интуитивно чувствовал и это — пытаться пробить брешь в убеждениях оратора, который перед страхом духовной пустоты, словно панцирем, отгородился от себя самого.

— Ухожу я, — с тихой безнадёжностью проговорил он, хотя уходить, как он догадывался, было некуда.

Выйдя из дома в сырую ночную темноту, Гицаль всё ещё слышал за спиной страстную патетическую речь Болтана Самосуя, который, начисто забыв о нём, обращался, как видно, к чему-то разлитому в пространстве и времени.

Спотыкаясь о корни Нескучного сада, последний романтик наощупь пробирался к Высокому квадратному забору. Альпеншток глухо постукивал о днище походного котелка, распугивая крикливых ночных птиц: прилетая неизвестно откуда, они всякий раз улетали неизвестно куда.

Нельзя сказать, что во время правления Верени Водаёта запрещалось приближаться к Высокому квадратному забору. Во всяком случае, ни в одном из тогдашних официальных установлений никакого

указания на этот счёт не содержалось. Тем не менее немногочисленные, но суровые правила хламского этикета не рекомендовали чересчур приближаться к нему. Трудно объяснить, отчего это было именно так, возможно, сама громада забора, сложенного из нескончаемых рядов толстых брёвен, угрожающе нависшая над Страной Хламов, обладала какой-то загадочной отталкивающей силой. Неспроста, каждый раз оказываясь здесь, Гицаль ощущал, как что-то невидимое жёстко и сильно толкает его в грудь.

Сбросив на землю рюкзак, он отмерил от забора несколько шагов и, бормоча что-то себе под нос, начал выкладывать всё необходимое. Закончив, сел на траву и приладил к ногам монтёрские когти. Ходить на когтях, безусловно, было весьма неудобно, однако Гицалю удалось проковылять несколько метров. Причём через каждый метр он забивал в землю колышек. Размотав верёвочную лестницу, начал растягивать её между колышками так, что в конце концов получилось что-то вроде верёвочной паутины. Затем при помощи рулетки тщательно измерил своё творение со всех сторон и, очевидно, остался доволен. Сняв с колышков лестницу, вновь свернул её в трубку и засунул в рюкзак. С трудом повернулся — когти сильно замедляли движение — и несколькими резкими ударами альпенштока загнал колышки в землю. Затем провёл пальцем по острию альпенштока и вонзил его в рыхлую глинистую почву. «Круг замкнулся!» — глухо промолвил он и в изнеможении опустился на короткую, подстриженную ёжиком траву. Ноги болезненно ныли. Последний романтик зажёг огарок свечи, достал из штормовки маленькое зеркальце и погрузился в созерцание своего лица, искажённого душевной болью. «Нет не могу!» — выговорил он наконец, снял когти, вычистил альпеншток,

сложил всё в рюкзак и, взвалив его на плечи, прощально глянул на бугристый гребень Высокого квадратного забора, отделяющего его от безграничного Зазаборья.

* * *

В это утро Гицаль Волонтай сбросил с себя одеяло именно тогда, когда первый мусорщик прогрохотал по улице своей железной тележкой. Опустив на пол ноги, последний романтик со стиснутыми зубами пасмурно-безнадёжно оглядел башмаки с комьями непросохшей за ночь глины. Скривившись, как от зубной боли, натянул влажные полотняные штаны. Затем, сопя от напряжения, вытащил из-под кровати огромный зеленовато-коричневый рюкзак, туго набитый различными вещами. Закинув рюкзак за спину и под его тяжестью слегка нагнувшись вперёд, Гицаль Волонтай решительным шагом направился прочь из собственного дома.

СУНДУК

С детства Болтан Самосуй сильно отличался от прочих тем, что не мог терпеть никакой неправды. Так перед праздничным парадом, когда обшарпанный фасад Семейного общежития мусорщиков завешивался огромным красочным плакатом, призывавшим хламский народ к новым свершениям и победам, маленький Болтан частенько забирался за этот плакат и, сидя с фонариком в тёмном закутке, внимательно изучал глубокие, извилистые трещины и похожие на бородавки пятна сырости, густо покрывавшие стены старинного здания. Он пристально вглядывался в иероглифы трещин и царапин, слушал приглушённые звуки хламского национального гимна, доносившиеся с Площади, и печально, совсем не по-детски улыбался.

Повзрослев, Болтан Самосуй написал правителю письмо с просьбой выслать его куда-нибудь в ссылку, лучше всего — за пределы Высокого квадратного забора. Однако Вереня Водаёт, неправильно истолковав желание юного Болтана, приказал наградить его орденом Почётного Легиона — за готовность к героическому самопожертвованию. Про Болтана Самосуя даже опубликовали статью в газете «Правдивый хлам», объявив его официальным борцом за справедливость. А спустя ещё некоторое время и эта статья, и сам он были совершенно забыты.

А между тем тяга совершить справедливый поступок необычайно усилилась в нём. Много лет, как безумный, бродил Болтан по тропинкам Нескучного сада с тщетным намерением кого-нибудь спасти. Заросший густой щетиной и оборванный, проходил он однажды мимо Пруда и внезапно услыхал громкий плеск и какое-то неясное лопотание. Кинувшись к воде, Болтан увидел маленькое, облепленное тиной существо, беспомощно барахтавшееся неподалёку от берега. Погрузившись по пояс в ледяную воду — была ранняя весна — он подхватил утопающего и, исполненный радости, поднял над головой. Спасённое им существо, стараясь вырваться, судорожно билось у него в руках. И вдруг



огромная жаба, разбрызгивая воду, выпрыгнула из Пруда и вцепилась в запястье отважного борца за справедливость. Однако, несмотря на боль, Болтан не отпустил спасённого и смерил чудовище угрожающим взглядом. Она также, вытаращив лупатые глазищи, гневно уставилась на того, кто отбирал у неё законную добычу. В течение нескольких секунд они буравили друг друга глазами. Жаба не выдержала первой и с недовольным кваканьем плюхнулась назад в Пруд. Болтан прижал притихшее существо к груди и вынес на берег.

Когда он снял тину, густо облепившую спасённого с головы до ног, то увидел совершенно голого человечка в глухих, непроницаемо-чёрных очках. Раскинув руки и ноги, неподвижно лежал он на траве. Расчувствовавшись, Болтан опять взял его на руки и поместил так, что чёрные очки малыша упёрлись ему в грудную клетку. Любовь и жалость мощной волной захлестнули его. Это была жалость не к одному лишь спасённому им существу, но куда больше — всемирная жалость ко всем несчастным, убогим и больным. Казалось, она поднимает Болтана Самосуя выше самых высоких деревьев Нескучного сада, выше Высокого квадратного забора, выше ноздреватых облаков, мрачной толпой проплывающих у него над головой.

Особенной чертой сознания Болтана был его вселенский масштаб. Таким оно было наперекор или, вернее, благодаря тому, что он появился на свет в стране, окружённой Высоким квадратным забором, ибо только на очень маленьком, со всех сторон замкнутом клочке земли можно по-настоящему ощутить всё величие беспредельности. Возможно, поэтому, что бы

ни происходило с ним, — всё непременно принимало характер вселенского катаклизма. С этим, разумеется, можно не согласиться, но мы уже знаем, что, отобрав у жабы человечка в чёрных очках, Болтан Самосуй кардинально изменил всю историю Страны Хламов.

Как бы там ни было, его сердце часто и мощно колотилось. Думал же он примерно так: «Вот подрастёт малыш, представляю, как будет благодарен мне, когда узнает, что это я, рискуя жизнью, вырвал его из лап прожорливой жабы. Впрочем, не буду ему ничего рассказывать: не для того же, в самом деле, я его спасал. Главное для меня — справедливость!» Человечек же, который давно очнулся, висел между небом и землёй и думал приблизительно так: «Что это за болван меня тащит? Интересно, что ему от меня надо?»

Человечку было очень стыдно, что он абсолютно голый, кроме того, он был брезглив и чрезвычайно страдал от прикосновения потных Болтановых рук. Раздражал его также и стук большого Болтанового сердца.

Болтан Самосуй жил в покосившемся доме, единственном на улице Заросшей сорняками. Посвящая всё своё время борьбе за справедливость, он никак не мог отремонтировать его. Подойдя к прогнившей двери, Болтан распахнул её ударом ноги: так он входил в свой дом даже тогда, когда руки его бывали свободны.

Первое впечатление от жилища Болтана было таким, словно его ни разу не прибирали после какого-то давнего землетрясения. Растолкав разнообразные предметы, загромождавшие стол, Болтан усадил на него драгоценного человечка и попробовал снять с него очки. Но тут же буквально взвыл от боли: человечек выскользнул из-под ладони, подскочил и вцепился

зубами ему в запястье. От вопля зазвенело оконное стекло и затенькали бог весть с каких пор не мытые стаканы. Но ни одна собака не тявкнула в ответ, ибо на улице Заросшей сорняками да и во всей Хламии испокон веков не было собак.

Болтан стряхнул человечка на пол и, разгневанный, начал вытаскивать из брюк ремень. Но человечек нисколько не испугался и даже приготовился дать отпор.

— Ну ладно, маленьких не бью, — рассмеялся Болтан и добродушно добавил: — Будешь моим приёмным сыном!

— Ещё неизвестно, кто кому в сыновья годится, — пробурчал себе под нос человечек. И хотя Болтан Самосуй снова рассмеялся, он больше никогда не пытался снять со Смока — так звали человечка — его чёрные очки.

В углу Болтанового жилья стоял обитый медными полосами сундук, который достался в наследство Болтану Самосую от его далёких предков. Этот сундук был единственной приличной, добротно сработанной вещью в доме. Раскрыв сундук, так что с его крышки с грохотом покатились пустые бутылки, Болтан достал оттуда ржавые ножницы и старый суконный плащ. Одним махом отхватив от полы плаща солидный кусок бурой ткани и вырезав в нём два отверстия для рук и одно побольше для головы, Болтан прочувствованно произнёс: «Сынок, это кусок того самого плаща, который носил мой, а теперь и твой далёкий предок Насеканик Смелый, отважный борец за свободу и справедливость. Носи и гордись им!» С этими словами он протянул Смоку некое подобие маленького балахончика. Посиневший от холода человечек, тщетно пытавшийся согреться, похлопывая себя по плечам и

по груди, не говоря ни слова, выхватил своё одеяние из рук новоиспечённого отца.

Приодев сына, Болтан отправился на кухню, и вскоре оттуда донёсся запах пригорелой каши и брань, указывающие на сложности, с которыми сталкивался Болтан Самосуй, когда он бывал свободен от борьбы за справедливость. Спустя некоторое время, перекинув через плечо не слишком-то чистое полотенце и держа в руках миску, он вернулся в комнату и с удивлением убедился, что его приёмный сын успел перекроить кусок дедовского плаща в некое подобие военного френча, который плотно облегал его маленькую коренастую фигурку. Тут Болтану на мгновение почудилось, что перед ним хотя и маленький, но вполне взрослый мужчина. Но, преодолев сомнение, он добродушно пробасил: «Ну что, сынок, усаживайся, подкрепись чуток!» Человечек, не говоря ни слова, взобрался Болтану на колени и устроился там поудобней, причём на лице его отражалась целая гамма чувств, из которых главным было чувство голода, но второе место, несомненно, занимала брезгливость. Между тем Болтан зачерпнул полную ложку каши и, поднеся её ко рту Смока, растроганно произнёс: «Кушай, сынок, а папа тебе сказочку расскажет!»

В сказке, а точнее, известной всем легенде, повествовалось об огромной ненасытной жабе Скаламбухе, проникшей в Страну Хламов откуда-то из-за Высокого квадратного забора. (В «Заветах Невидимого», однако, имеется довольно трудное для понимания место, которое можно трактовать таким образом, будто Скаламбуха в древние времена была сооружена самими хламами.) Целых три тысячелетия Скаламбуха охотилась днём за хламами, неожиданно слизывая их

своим длинным и красным, как ковровая дорожка, языком, а ночью жутко кряхтела, наводя на жителей местечка тоску и безысходность. В конце концов хламы от страха утратили всякую способность к сопротивлению, и, вероятно, страна вскоре окончательно бы обесхламила, если бы не далёкий предок Болтана Насеканик Смелый. Как-то ночью он пробрался к обиталищу жабы-хламоедки, которая в это время переваривала съеденного накануне последнего сотрудника Министерства хламской обороны, и с криком «За Родину!» оседлал её, нахлёстывая изо всех сил стальным веником. Обезумевшая от боли и неожиданности жаба, дико квакая и снося всё на своём пути, вихрем пронеслась по местечку, брыкаясь и пытаясь скинуть со своего загривка отважного наездника. Насеканик Смелый гнал её к Пруду. И вот, наконец, жаба, ошалевшая от беспрерывного битья, с диким воплем бросилась в воду и камнем пошла ко дну. Вместе с ней утонул и далёкий предок Болтана, несокрушимый борец за справедливость Насеканик Смелый.

Во время повествования по лицу Болтана и его приёмного сына блуждали противоположные чувства: если на лице папы светилась улыбка, лицо Смока становилось пасмурным, если же Болтан грустно вздыхал, грудь Смока радостно и торжествующе вздымалась. И только в конце рассказа, как бы поддавшись общему порыву, отец и сын дружно зашмыгали носами. «Бедный дедушка», — всхлипывал Болтан. «Бедная бабуся», — чуть слышно шептал Смок.

В наследственном сундуке Болтана Самосуя хранилось немало необыкновенных вещей. Рядом с фолиантами хламских звездочётов там лежала точная копия того самого стального веника, при помощи коего

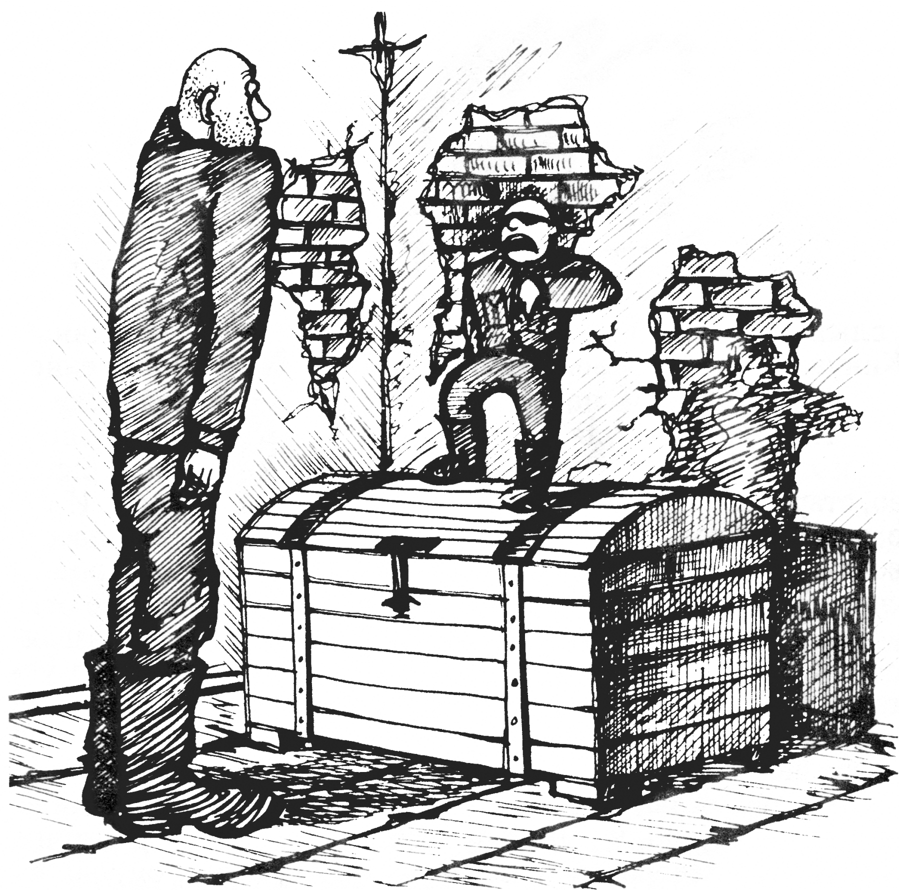
Насеканик Смелый победил лютую жабу. Старинный фарфоровый сосуд соседствовал с остатками дедовского плаща, который, кстати, всё уменьшался: Смок рос как на дрожжах и то и дело перекраивал свой полувоенный френч. В сундуке было спрятано мраморное ухо, которое, по мнению знатоков искусства, было высечено знаменитым скульптором древности. Однако, кому оно принадлежало, выяснить так и не удалось. Был тут и чудесный, руки неизвестного художника женский портрет. Как будто бессмертная проповедь готова была вылететь из широко разинутой пасти башмака, принадлежавшего некогда первому предвестнику справедливости Зазело Карузо — от него Болтан Самосуй вёл своё духовное происхождение. А поверх всего лежала объёмистая рукопись единственного трактата самого Болтана «Справедливость и пути достижения оной». «Кем бы мы все были без такого вот сундука? — частенько говаривал Болтан. — Как бы догадались, от кого происходим, что было до нас и кем были наши седые предки?» Говоря так, он с нежностью поглаживал крышку сундука, подобно тому, как хозяин гладит своего верного пса. От частых поглаживаний поверхность сундука блестела, как отшлифованная.

Если вспомнить, какой кавардак царил в доме, то не удивительно, что блестящий, добротно сработанный сундук с первого же дня стал привлекать внимание Смока. Однажды, вернувшись домой из очередной экспедиции, посвящённой поискам правды, Болтан, как оглушённый, застыл на пороге. Его приёмный сын, крестом сложив руки на груди, стоял на сундуке и правой ногой конвульсивно отбивал по его крышке сухую раскатистую дробь. Казалось, Смок к чему-то прислушивается, ибо на лице его лежала тень той особенной отчуждённости, какая бывает свойственна

хламам, слушающим симфоническую музыку. Чёрные очки Смока вдохновенно блестели, а губы шевелились, как если бы что-то великое, ища выхода, созревало в нём. И вдруг — вот оно! «Смирно! Кругом! В две шеренги становись!» — невыносимым для уха металлическим дискантом заверещал он. Болтана от неожиданности передёрнуло, и руки его невольно вытянулись по швам. Всё его существо заполнилось неодолимым желанием выкрикнуть раболепное: «Есть!» Краска залила его лицо, и борец за справедливость, как ошпаренный, выскочил из своего собственного дома.

В эту ночь Болтан Самосуй так и не вернулся домой. Как пьяный, бродил он по улицам местечка, залитым призрачным светом фонарей. В конце концов, обессиленный и опустошённый, он свалился на влажную с болотным запахом травянистую кочку. Как нарочно, Болтан угодил на то самое место, где совсем ещё недавно он снимал тину с неподвижного маленького человечка в чёрных очках, которого он собирался сделать своим наследником, кому мог бы передать свой заветный сундук.

И привиделось Болтану Самосую, что несёт он на руках своего приёмного сына, несёт назад, к Пруду. По его щекам катятся слёзы, но он не может остановиться, боится не успеть, ибо Смок растёт прямо у него на руках и делается всё тяжелее и тяжелее. А вот, наконец, и Пруд. Под прозрачной толщей неподвижной воды Болтан видит расплывчатые мясистые контуры огромной жабы, видит её выпуклые глазища, полыхающие красным огнём. А на её спине сидит кто-то ещё, сидит и яростно хлещет безобразную жабу металлическим предметом. «Да это же веник!» — осеняет Болтана. Он пытается оторвать от себя вцепившегося в него Смока,

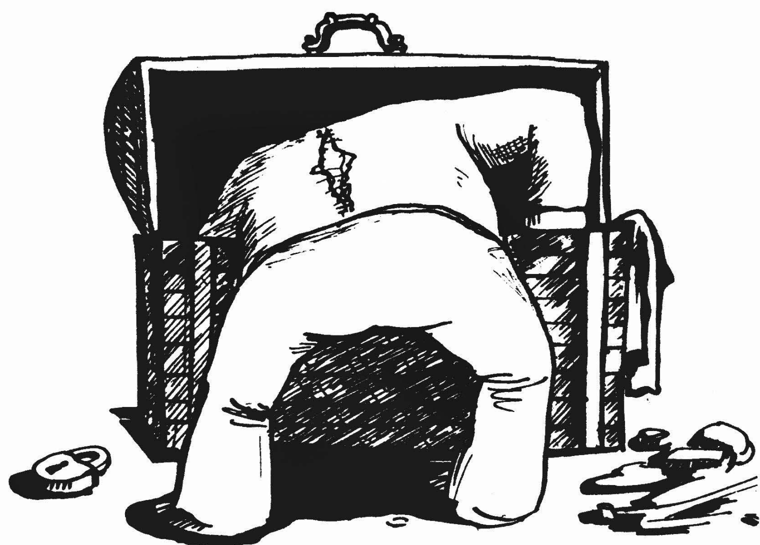


но не может этого сделать. «Не бросай меня, папа!» — жалобно хрипит Смок, и внезапно железные пальцы хватают Болтана за горло. Чёрные очки спадают со Смокова лица, и Болтан видит вместо глаз узкие сверкающие прорези. Они вплотную приближаются к лицу Болтана, ослепляют его, и всё рассыпается на мириады яростных осколков…

Мелькнула и сгинула последняя искра ночного кошмара. В предрассветном полумраке матово поблёскивает поверхность Пруда. Взмокший от пота, Болтан медленно возвращается к жизни. Он тяжело встаёт и, ощущая на горле болезненные следы ночной схватки, покачиваясь, ковыляет домой.

Ещё издалека Болтан заметил около дома кучу неких, до боли знакомых ему вещей. Подойдя поближе, он узнал всё то, что ещё вчера составляло содержимое его жилья, а точнее сказать, его существования. Коллекция банок с пёстрыми наклейками, треснувшая люстра в тёмной стародавней оправе, фетровая шляпа — подарок давно умершей возлюбленной, несколько бутылок «Горькой полыни» и много чего ещё было в беспорядке свалено под окном. С минуту Болтан недоумённо смотрел на вещи, создававшие в его жилище такую цветную и милую сердцу неразбериху. Затем, как бы через силу, подошёл к двери и, возможно, впервые в жизни осторожно открыл её рукой.

Дом внезапно изменился до неузнаваемости. Между вычищенными до блеска половицами чернели широкие с неровными краями щели, откуда тянуло многолетней сыростью и холодом. Со стен были сорваны цветные литографии, и те места, где не было штукатурки, напоминали живое мясо, с которого содрали кожу. Серый потолок понуро нависал над головой.



Сквозь стёкла, тщательно заклеенные пожелтевшими газетами, процеживался жутковатый свет, из-за чего на всём проступал какой-то мертвенный оттенок. Из всех вещей Болтана уцелел только дедовский сундук да старый пружинный диван. Смок стоял спиной к нему и копался в сундуке. Занятый своей работой, он даже не услышал отцовских шагов. И тут, в пустом и нежилом доме, Болтан отчётливо увидел, как вырос его приёмный сын. Могучие лопатки, подобно жерновам, двигались под лопнувшим на спине френчем, толстая шея обтёсанным обрубком высовывалась из узкого для неё воротника; дюжие руки, напоминающие жабьи лапы, торчали из коротких рукавов.

— Ты что тут делаешь?! — спросил Болтан.

Смок круто повернулся. В одной руке он держал остатки плаща знаменитого предка, в другой — точную копию его стального веника.

— Френч снова лопнул, — понуро пробормотал он.

И тут Болтана прорвало.

— Кто тебе позволил копаться в моем сундуке?! — заорал он. — А ну, положи веник на место!

Несколько секунд Смок колебался, а затем неохотно опустил веник в сундук. По лицу Болтана катились холодные капли. Он подошёл к сундуку, поднял с пола замок, замкнул сундук и, бессильно опустившись на него, с трудом обратился к Смоку:

— Чего стоишь? Садись. Завтракать будем.

Прихватив миску с холодной кашей, верзила Смок плюхнулся к нему на колени. Болтан зачерпнул полную ложку и привычным движением поднёс её ко рту Смока. И вдруг содрогнулся: между двумя рядами белоснежных острых зубов одиноко блестела золотая коронка... Оловянная ложка с тоненьким звяканьем покатилась по полу.

Болтан приподнял голову: Смок тихо посапывал на полу около дивана. Чёрные очки пересекали его как бы высеченное из камня лицо. Стараясь не шуметь, Болтан слез с дивана и на цыпочках прокрался к сундуку. Обхватив его руками и с трудом оторвав от пола, он двинулся к двери. В зарослях лопухов, растущих в ложбине подле дома, Болтан, шумно вздохнув, опустил сундук на траву. Затем с силой вонзил в землю ржавую лопату и яростно отковырнул первый комок...

Скоро он был уже на дне глубокой четырёхугольной ямы. Задумчиво и устало прислонился он к прохладному вертикальному срезу. Несколько мелких камешков скатилось сверху, и внезапно вся песчаная стена с глухим шорохом съехала на Болтана, сбила его с ног и накрыла с головой. Каким-то невероятным усилием ему удалось освободить голову и руки, но тут тяжёлый

сундук, лязгая, сполз по склону и, как железный сапог, врезался ему под ребра, намертво прижав к земле.

Словно ветром выдуло все мысли из Болтанового сознания, как если бы настежь распахнулись ставни, мешающие ему видеть. И встала перед ним панорама небольшого города, или, вернее, целой страны. Там кипела какая-то непонятная ему работа. Болтан проходил мимо зданий, которые у него на глазах, ярус за ярусом, врастали в небо, миновал ростки, что появлялись из-под земли и тут же превращались в высокие раскидистые деревья. Но Болтану казалось, что всё происходит слишком медленно. Он нагнулся над деревом, схватил его за верхушку и, помогая ему расти, начал с силой тянуть его вверх. Раздался треск. Дерево лопнуло пополам, и в разрыв хлынула жёлто-красная жижа, которая, не успевая растечься, застывала на земле густым бурым месивом. Изувеченные деревья почернели, скорчились и рассыпались в прах…

Болтан огляделся: никакой созидательной работы больше не было. С громад зданий медленно сползала черепица. По стенам зазмеились чёрные трещины, из которых начали вываливаться кирпичи. И вот уже стены дрожат и раскачиваются… В этот момент всё утонуло в непроглядной круговерти, словно Невидимый толкнул ставни и с пронзительным скрежетом они захлопнулись навсегда.

Смок вытащил из ямы сундук, достал из него стальной веник, а остальное содержимое высыпал на изувеченные останки Болтана Самосуя. Он взялся было за лопату, но о чём-то подумав, снова спрыгнул вниз и отыскал в куче старья объёмистую рукопись. Сдув с картонной обложки песок, он по слогам прочитал: «Справедливость и пути достижения оной». Закопав

отца, Смок с сундуком вернулся в дом. Крякнув, поставил его на прежнее место, а поверх положил стальной веник и пухлый отцовский трактат о справедливости. Потом подошёл к стене, достал из кармана кусок мела и стал что-то рисовать на обшарпанной штукатурке. Он сопел от напряжения, но было очевидно, что работа доставляет ему огромное удовольствие.

К вечеру на стене дома проступил профиль, который имел несомненное сходство с оригиналом: это был отец Смока, вытащивший его из Пруда, выкормивший и вырастивший его, непреклонный борец за справедливость Болтан Самосуй. Смок с минуту с удовлетворением созерцал своё произведение, затем круто повернулся и, чётко отбивая шаг, скрылся в дверном проёме, за которым в мглистых сумерках лежала Страна Хламов…

На пустынной улице Заросшей сорняками он увидел впереди нескладную фигуру в шляпе и с тростью в руке. По-бычьи наклонив голову, Смок пошёл прямо на неё.

НОЧНАЯ ПТИЦА

Непризнанный поэт Хитер Смитер швырнул на стол кипу тоненьких брошюрок, сел на скамейку и прихлопнул свою стихотворную продукцию могучей пятернёй.

— И это плоды моей жизни! — мрачно констатировал он.

Впрочем, слово «мрачно» не совсем соответствовало только что сказанному. Хитер никогда не улыбался, его похожее на каменную маску лицо всегда оставалось неподвижным, он постоянно молчал, и такая невероятная сдержанность удивляла хламов, а многие даже побаивались его. Этот подспудный страх базировался не только на том, что поэт был обладателем непомерно больших кулаков и широченных плеч: хламы интуитивно чувствовали за его грубой внешностью какую-то необычную силу, которая в любой момент могла вырваться наружу и смести на своём пути что угодно.

Эту угрожающую силу Хитер с детства ощущал в себе и сам. Все его стихотворные упражнения (так он называл свои произведения) в большинстве своём были проявлениями этой необычной силы, точнее, её разрядкой вовнутрь самой себя. Например, в Хитеровых поэтических погружениях в седую старину (поэма «Самородки») носители такой специфической силы без лишних рассуждений выплёскивали её из глубины своей щедрой натуры на окружающий мир и на всё живое в нём. Они, индивидуумы высшей

хламской породы, благодаря своей жизнетворной силе и железной воле давили и растаптывали чужие им порядки и правила, создавая свои, новые установления, уничтожая или перелицовывая всё и всех на свой собственный лад. Они либо погибали, либо становились сильнее в непрерывных войнах и борьбе друг с другом, и побеждённым только и оставалось, что принимать законы и мораль победителей, главным смыслом которой была их собственная, героическая и полная опасностей жизнь. Они без всяких угрызений совести присваивали чужое, более слабое, менее ценное, становясь при этом ещё могущественней. Они были и остаются драгоценнейшими самородками золотой породы хламов…

И сам Хитер Смитер — он ощущал это всем своим существом — был чуть ли не последним самородком среди толпы никчёмных соплеменников — трусливых, но нахальных болтунов про свободу воли, парапсихологию, демократию, искусство, свободную любовь и права личности, пустозвонов, которые в действительности только и имеют право быть покорным стадом и податливым материалом для великих Хитеровых замыслов.

Так или иначе для исполнения того, что он задумал, без «живого материала» обойтись было невозможно. А самым прочным «материалом» в Хламии, на его взгляд, были, конечно, мусорщики — трудолюбивые от природы, здоровые и не испорченные излишним образованием. Правда, чрезмерное употребление «Горькой полыни» делало их временами непригодными ни для какой мало-мальски разумной деятельности. Но…

— Но и мне не мешало бы сегодня пропустить рюмку-другую во славу моего исторического решения! — Хитер небрежно смахнул брошюрки со стола, и «плоды» его жизни, жалобно прошелестев в воздухе

цветными страницами, пёстрым веером улеглись на глинобитный пол. (Поэт получал за свои брошюрки и публикации в «Правдивом хламе» мизерные гонорары и потому никак не мог застелить пол в своём домишке хоть самыми простенькими досками, не говоря уже о паркете.) Поднявшись со скамьи, Хитер сгрёб брошюрки в кучу и щёлкнул зажигалкой. Слабый огонёк заплясал над бумажками, в которых содержалось всё то, что он сотворил в течение своей былой жизни, а когда огонь целиком накрыл сваленное на полу, Хитер нащупал в кармане последний осьмак и, ни разу не оглянувшись, вышел из дому.

Хитер Смитер проживал на улице Туманного парадокса неподалёку от Семейного общежития мусорщиков, и потому кратчайший для него путь к кабачку «Сердцебиение» пролегал по бульвару Обещаний. На Площади, на одной стороне которой возвышался шпиль Дворца правителей, а с обратной — привлекал внимание окрашенный в жёлтое особняк иностранца Шампанского, он сделал остановку.

Понятно, сегодня ему не помешало бы снова навестить Дворец, куда он заходил довольно-таки часто и не без причины. Старый швейцар (иной обслуги и охраны во Дворце не было) радушно распахивал перед ним дверь, провожал по ковру к мраморной лестнице и возвращался на своё привычное место. Хитер поднимался на второй этаж в галерею, стены которой были увешаны большими портретами в позолоченных рамах. Это, разумеется, были портреты правителей Хламии: от первого, легендарного Висуса Пропащего, до нынешнего правителя Верени Водаёта. Хитера интересовал только первый портрет, ибо именно от Висуса Пропащего он исчислял своё родство,

что было абсолютно ясно даже без специально составленной по этому случаю местечковым архивариусом «Родословной Смитеров». И самого Хитера, и всех посетителей галереи удивляло невероятное внешнее сходство между Хитером и его далёким предком: те же огромные и тяжёлые кулаки, могучие, как жернова, плечи, которые, казалось, не помещались в подбитый золотом камзол, шея, обтёсанным обрубком выпирающая из узкого ей воротника, как будто из камня вырезанное лицо с сурово сжатыми губами, толстым носом и холодным взглядом голубых глаз…

В этом был удивительный контраст с портретом правителя Верени Водаёта! Нынешний хозяин Дворца, избранный хламами из-за его неумения принимать решения, а также из-за необыкновенной простоты и добродушия, с утра до вечера на протяжении своего долгого, скоро уже двадцатилетнего правления беззаботно дремал, тихо покачиваясь в оборудованном специально для него троне-качалке. Когда смеркалось, Вереня, заспанный и в халате, выходил в галерею, неуклюже слонялся около портретов своих предшественников, шаркая в мёртвой тишине кожаными тапками и приветливо кивая редким вечерним посетителям лысой головой. Сходил по мраморным ступенькам в прихожую и надолго исчезал в комнатушке старого швейцара, до утра играя с ним в поддавки (шашечная игра). И в этом, если не принимать во внимание его «хождений в народ» (посещений кабачка «Сердцебиение»), заключалась, пожалуй, вся его государственная деятельность. Корона Висуса Пропащего была причиной лысины на его квадратной голове и так ему опостылела, что он, нарушая древний хламский этикет, давно уже не надевал её.

Простояв в нерешительности несколько мгновений, очевидно, взвешивая два альтернативных варианта отметить историческое для его биографии событие, Хитер круто повернулся спиной к Дворцу правителей и направился к особняку Шампанского.

— Sorry! — вместо обычного приветствия произнёс с порога иностранец. — А где же твои чёрные очки? Ты выглядел накануне как настоящий солдафон!

— Круг замкнулся! — ответил ему вместо этого Хитер Смитер, зная о привычке иностранца сбивать с толку посетителей особняка своими репликами (на первый взгляд неожиданными и бессмысленными, но часто весьма меткими), которые, как видно, могли вызвать у его гостей эффект оболванивания, которые сам Шампанский называл озарениями.

Безусловно, Хитер прекрасно понимал, что слова и их значение не совпадают и такого эффекта, при соответствующей расстановке слов, достигнуть можно, но какое было ему дело до всех этих хитросплетений, если всё может разрешить только слепая, до последнего предела сконцентрированная внутри него сила, кванты (хламское слово) которой присутствуют во всём, что живёт и движется, а также в неживых камнях, глине, воде, воздухе, стенах Высокого квадратного забора — словом, во всей Вселенной. Такая первобытная мощь либо концентрировалась, либо разряжалась и скользила по временному кругу, повторяя всё те же, древнейшие комбинации. Никогда не существовало и не существует никакого «потустороннего» мира, и так называемые прозрения, достигнутые с помощью медитации, — только один из способов хилых и болезненных отгородиться от сильного, более полноценного индивидуума, от его испепеляющей все каноны и по-

становления мощи. (Кстати, эти «кроткие святоши», если им удаётся всей кучей закрепостить своего противника, сами становятся куда более беспощадными хозяевами, калечащими побеждённого своими зловредными инсинуациями и постепенно превращающими его в морального урода и неврастеника.)

Так как аристократичный и болезненный от природы Шампанский (в этой природной болезненности и крылась причина трансцендентных упражнений, которым он имел пристрастие предаваться) не надоедал ему (как, например, надоедают поклоняющиеся Невидимому россказнями о «спасении души», «вечной жизни», «грехе», «вине», «нечистой совести», «сочувствии», «гордыне»), то Хитер Смитер, несмотря на своё тотальное одиночество, мог некоторое время выносить излишнюю близость иностранца. Потому не покажется странным, что их столики соседствовали в кабачке «Сердцебиение», и через некоторое время оба уже сидели в креслах поблизости друг от друга.

В тот вечер в кабачке собралась практически вся местечковая богема. В сизых кольцах сигаретного дыма столики, за которыми сидели богемовцы, казались маленькими подводными лодками. Закуренный сводчатый зал был заполнен густым, однообразным гулом. Со стороны могло показаться, что завсегдатаи кабачка, не слушая и перебивая друг друга, высказывают самые невероятные, противоречивые мысли и суждения, давно уже не понимая, о чём, собственно, идёт речь.

Немного в стороне от столиков Хитера и Шампанского, собравшись в слаженную кучку, веселились молодые хламские поэты и поэтессы, которые при появлении иностранца и литератора несколько снизили тональ-

ность своей беседы, а вскоре в полной растерянности покинули зал.

— Поэзия да и вся литература ничего не значат, а поэты — просто клоуны, да и всё тут! — заметил Хитер.

— Пожалуй, что так, — согласился Шампанский, — однако сам-то ты пишешь.

Хитер Смитер пропустил это едкое замечание мимо ушей.

— Во времена моего предка Висуса Пропащего, — упрямо продолжал он, — место поэтов было на отдалении от праздничного стола, а их предназначение — тешить сердце хозяина и его благородных гостей сагами о войнах, подвигах и охотах.

— Это было давно… И всё-таки сам ты пишешь, — повторил его собеседник.

— Уже не пишу. Круг замкнулся! — с этими словами бывший поэт ни с того ни с сего резко поднялся с кресла и прошествовал к выходу.

В полутёмной, довольно узкой (не разойтись) прихожей кабачка прямо на него неожиданно, тяжело топая, стала надвигаться коренастая фигура хлама в непроницаемо-чёрных очках, одетого в коричневой окраски полувоенный френч. Оба внезапно остановились и начали пристально осматривать друг друга с головы до ног. И Хитеру Смитеру показалось, что он уже видел где-то этого громилу, более того — неоднократно встречался с ним. Постояв так несколько минут, каждый спиной к стене, держа наготове около груди по-боксёрски сложенные руки, словно боясь получить неожиданный удар в солнечное сплетение или в челюсть, они молча протиснулись, каждый в своём направлении.

— Смирно, интеллигенты! — услышал за спиной на выходе из кабачка Хитер неожиданно визгливый голос странного незнакомца.

— От него надо и самому держаться подальше, — пронеслось в голове бывшего поэта, и впервые кривая улыбка пробежала по его сжатым губам, хотя подспудно ожидаемое появление противника в то же время слегка обрадовало его.

На улице Верности, где Хитер Смитер собрался погулять, невдалеке от Пруда, он встретил основательно избитого профессора ФКПИ и главного редактора «Правдивого хлама» Уха Перекидника в сопровождении учащихся академии, которые медленно вели профессора к своей альма-матер. Молча обойдя Хитера и удалившись на безопасное расстояние, вся эта пёстрая толпа вдруг остановилась, повернулась в его сторону и начала, размахивая кулаками, выкрикивать ужасные угрозы, хотя адресовались они, скорее всего, громиле в полувоенном френче.

Хитер ещё раз порадовался недавней встрече в прихожей «Сердцебиения», ибо громила сделал то, что он неоднократно намеревался совершить и сам. Профессор Ух Перекидник редко печатал его сборнички, а когда и решался на это, выплачивал за них мизерные гонорары. Складывалось впечатление, что он выпускал в свет Хитеровы «упражнения» только для того, чтобы сразу же после их издания обрушиться на поэта с разгромными статьями, обвиняя последнего в «аморализме», «жестокости», «гражданском равнодушии», «индивидуализме», «вандализме» и тому подобном, не забывая, однако, при этом демонстрировать свою широкую учёность, начитанность и демократичность взглядов, которые именно сейчас среди хламской

элиты входили в моду. Впрочем, всё то, в чём знаменитый хламский профессор обвинял непризнанного поэта, как раз и составляло самую суть его творчества. Правда и то, что хламы с присущей им щуплостью и слабохарактерностью не могли освоиться в Хитеровом мире, который казался им жутким и ненастоящим, а великие истины, те, что с явной неохотой приоткрывал им поэт-отшельник в своих немногословных произведениях, неприятно поражали их. Это неприятное впечатление, которое он производил, Хитер считал, впрочем, положительным моментом своего творчества. Единственное, что не устраивало его — величина получаемых им гонораров.

Идя по берегу Пруда, Хитер остановился около единственного, не заросшего ряскою и кувшинками места, где хламы летом частенько забавлялись купанием. Он бросил взгляд на своё отражение в воде и вдруг до него дошло, по какой причине ему показалось, что он уже не однажды встречался с громилой в полувоенном френче. Штука содержалась в том, что громила был точной копией самого Хитера Смитера! Что-то вдруг обеспокоило бывшего поэта, и он, уже куда быстрее, зашагал по улице Туманного парадокса в сторону Семейного общежития мусорщиков. Но на полдороги он снова был вынужден остановиться.

На обочине лежала подбитая кем-то, скорее всего подвыпившим мусорщиком, хохлатая с пёстрым оперением птица, одна из тех, которые ночью прилетают неизвестно откуда в Нескучный сад, тоскливо кричат в высоких кронах деревьев, а на рассвете исчезают неизвестно куда. Хитер впервые увидел ночную птицу во всей её необычной красе, хотя она была сильно изранена. Хохлатка, лёжа на боку, взмахивала изредка одним крылом, смотрела на него немигающим изум-

рудным глазом, в котором могли уместиться печаль и тоска всего белого света, и раскрывала кривой клюв, пробуя, вероятно, сообщить что-то склонившемуся над ней хламу. Нечто похожее на жалость укололо холодное сердце Хитера Смитера. Но он сразу заглушил это неожиданное для него чувство. Выпрямился и, чтобы птица не мучилась, носком туфля раздавил её хохлатую головку.

Со стороны Семейного общежития мусорщиков доносилось звяканье стаканов, обрадованные возгласы и застольные песни его жителей. Услышав среди весёлого гама уже знакомый визгливый голос, Хитер понял, что безнадёжно опоздал. «Нет, мы пойдём другим путём!» — вслух сказал он и круто повернул к своему дому. Пройдя несколько метров, он столкнулся с Сугнеем Чурилой, который с лопатой на плече тащил довольно толстое, засунутое для удобства под мышку бревно. Хитер отобрал у него лопату и, не сказав ни слова, двинулся дальше.

* * *

На следующее утро иностранец Шампанский проснулся от непривычных возгласов: «Направо! Налево! В две шеренги становись!» С удивлением прислушавшись к неприятному, как скрипящая пружина, голосу, Шампанский выглянул в окно и был весьма удивлён, увидев мусорщиков, которые короткими перебежками, согнувшись, как бы прячась от неизвестного врага, со всех сторон приближались к Дворцу правителей. По характерному блеску в кустах, растущих перед окном особняка, Шампанский узнал вчерашнего громилу в полувоенном френче, с которым он лоб в лоб стол-

кнулся на улице Заросшей сорняками, — так могли блестеть только его непроницаемо-чёрные очки.

В то же самое утро Хитер Смитер, проделав дыру в глинобитном полу своего дома, начал выкапывать под ним подполье. На следующий день подполье было в основном выкопано, и внутри него как раз через неделю после государственного переворота разместилась редакция единственной разрешённой в стране подпольной газеты «Возрождение», а также всё печатное оборудование, на котором печаталась газета и листовки с призывами уничтожить ненавистную диктатуру Смока Калывока (так звали нового правителя) и вернуть хламам свободу и независимость. К сожалению, большая часть тиража газетных номеров и листовок так и осталась в подполье: распространение опасной для новой власти печатной продукции было внезапно приостановлено из-за необыкновенно ранней зимы и связанной с её приходом зимней спячки. Ещё поговаривали, что это печатное оборудование непреклонный борец за свободу и независимость хламского народа и его соратники (подвижники) перетащили через довольно-таки узкий проход, прорытый ими в Зазаборье в непосредственной близости от того места, где находился Высокий квадратный забор.

ПОРТРЕТ

Гицаль Волонтай зябко передёрнул плечами. Привычка к работе не спасала от холода. Леденящие струйки забирались под ветхую рабочую куртку, ползли по тощим бокам бывшего романтика, подкрадываясь к впалому животу. Сухо похрустывала под лопатой прихваченная первым морозом земляная корка. Казалось, целая жизнь прошла с тех пор, как он очутился здесь, на строительстве канала, и Гицаль не надеялся уже когда-либо выбраться из этого гиблого места, отчаяние от чудовищной несправедливости того, что творилось, больше не угнетало его. Оставалась только работа и ничего, кроме неё. Бывший романтик корчился и извивался вместе с другими строителями канала, подобно одному из кусков рассечённого на части червяка.

Каждая выкопанная яма казалась Гицалю лишним шагом к тому, чего он давно уже не боялся. Чем глубже погружался он в стылую неподатливую землю, тем отчётливей представлял, как в какую-нибудь последнюю минуту, окончательно утратив желание жить, он отшвырнёт лопату, сядет на дно ямы, прижмётся щекой к её студёному срезу и… Лопата, глухо звякнув, упала на груду свежевыкопанной земли. Гицаль в истоме уселся так, как ему не однажды мерещилось, выпрямил ноги и прижался щекой к холодной шершавой глине. Внезапно что-то острое больно укололо его в

шею. Нехотя разлепив веки, он увидел торчащий из земли угол какого-то плоского предмета. Облупленная позолота, сохранившаяся на нём, странно контрастировала с унылой бесцветностью, которой была окутана окрестность. Мысль о забвении сменилась любопытством, и Гицаль осторожно, стараясь не испортить находку, начал разгребать песок.

Некоторое время спустя он держал перед собой облепленный грязью прямоугольник, а ещё через минуту, счистив с прямоугольника грязь, понял, что в руках у него картина, точнее, портрет какой-то женщины. Лицо её было ему очень знакомо, хотя портрет оказался сильно испорчен сыростью: по его поверхности расползались тёмно-бурые пятна, краска во многих местах отслоилась, облезлая позолота клочьями свисала с деревянной рамки.

И тут он вспомнил всё.

...В комнате, где царит живописный беспорядок, друг против друга сидят двое: он, последний романтик и гений страдания Гицаль Волонтай, и несокрушимый правдолюбец Болтан Самосуй. В руках у Болтана стальной веник, на полу между ними сундук с откинутой крышкой. Болтан, как всегда, твердит что-то о справедливости — это единственное, что манит и вдохновляет его, — а Гицаль, чтобы только не молчать, лениво препирается с ним, хотя ему наперёд известно, что переспорить Болтана невозможно.

Тот же горячится, в запальчивости потрясает над собой веником, утверждая, что без его помощи справедливости не достигнуть никогда и нигде. Затем он склоняется над сундуком и достаёт оттуда пухлый манускрипт — рукопись, которой посвятил большую

часть жизни — раскрывает её на середине и читает торжественно и слегка гнусаво.

Гицаль плохо слушает Болтана, но понимает, что суть того, о чём читает знаменитый правдоискатель, заключается в намерении осчастливить хламов с помощью всё того же стального веника. И Гицалю внезапно кажется, что Болтан стоит по колено в крови, а над его головой сияет золотой нимб.

Впрочем, через минуту Болтан снова становится самим собой. «Ну что? Теперь понимаешь?» — добродушно усмехается он. Романтик для вида соглашается, покачивает головой, но думает о другом. Его тянет взглянуть на вещь, ради которой он, собственно, и приходит сюда.

Ничем не выдавая своего волнения, он незаметно протягивает к сундуку руку и берёт небольшой портрет в позолоченной рамке.

...Её нельзя назвать красивой, но, когда Гицаль всматривается в её лицо, он ощущает странное, чисто физическое потрясение. Так бывает, когда стоишь на краю обрыва и любуешься необычайным, подёрнутым дымкой пейзажем, который настолько притягивает к себе, что начинаешь страшиться всё возрастающего соблазна спрыгнуть вниз.

Интересно, что Болтан ничего сверхъестественного в портрете не находил, да и вообще ценил его не больше, чем, к примеру, мраморное ухо навсегда исчезнувшей скульптуры, которое также скрывал в своих недрах сундук. Однако расстаться с портретом он не согласился бы ни за что на свете. «Ты не представляешь, — добавлял при этом Болтан, — *что* это за сундук. В нём же не только портрет — там тьма вещей, и ни одна из них, никакая безделушка не может покинуть сундук без того, чтобы в Хламии не свершились великие, может

статься, непоправимые несчастья. Это всё, что я знаю. Однако мне неизвестны роль и предназначение каждой отдельной вещи, а также их сочетания. Возможно, что именно портрет ничего тут не значит — это ведь не моя рукопись и не веник моего великого предка — и всё же я не хочу, вернее, не имею права рисковать…»

Гицаль ласково провёл ладонью по шершавой поверхности заветного портрета. Теперь это была его собственность, что почему-то не радовало его. Запихнув портрет за пазуху, последний романтик как бы в надежде ещё что-то найти сунул руку в образовавшуюся в песчаной стенке нишу. В ту же секунду стена с глухим шорохом съехала на дно ямы.

В куче песка перед собой Гицаль увидел несколько костей и хламский череп. Лежали там и другие предметы: мраморное ухо, остатки шляпы, осколки какой-то фарфоровой посудины, заржавевшие ножницы. Сомнений не было: он наткнулся на останки своего приятеля Болтана Самосуя вперемешку с содержимым его знаменитого сундука. Канал, задуманный Смоком как первый шаг к так называемой Новой жизни, прошёл как раз через могилу того, кто первым возвестил её грядущее пришествие.

Выбравшись из могилы, Гицаль огляделся. По контрасту со снегом, белой коростой покрывавшем окрестности, особенно чётко выделялся тяжело нависший над головой мрачный гребень Высокого квадратного забора. Вдоль забора чёрными проплешинами зияли ямы, в которых, как кроты, копошились высланные на раскопку канала богемовцы. Их никто не охранял, ибо сбежать всё равно было некуда: не взлетишь же, в самом деле, в небо, в этот свинцовый квадрат, откуда

беспрерывно валятся мокрые, бесформенные снежные хлопья.

В десяти шагах от романтика темнела заваленная комьями земли и мусора улица, в прошлом носившая название Заросшая сорняками. Сорняки на ней больше не росли — их съели строители канала. Одиноко и сумрачно высился у дороги дом Болтана Самосуя, напоминавший окаменевшего со сложенными крыльями нетопыря. И хотя Болтана уже не было в живых, а, значит, ни дом, ни портрет больше не принадлежали ему, Гицалю, некогда страстно мечтавшему завладеть портретом, неожиданно захотелось положить его на прежнее место — в сундук. Охваченный этим непонятным ему самому желанием, он заковылял к дверям.

Из глубины комнаты на него дохнуло затхлостью и сыростью необитаемого, давно покинутого жилья. Казалось, что-то более горькое, чем смерть, таилось под сгнившим порогом, в чёрных щелях, вьющихся между заплесневевшими от времени половицами, в страшноватых тёмных закутках. Когда глаза слегка привыкли к темноте, он начал различать отдельные предметы, которых, впрочем, было немного: стол, табуретка, железная койка. И вдруг сердце его ёкнуло: всеми четырьмя гранями из мрака выпирал массивный прямоугольный предмет.

Первое, что бросилось Гицалю в глаза, была неестественная по сравнению с другими вещами чистота сундука. Хотя всё вокруг утопало в пыли, он выглядел новым, и даже медные заклёпки на его обручах торжественно блестели, как бы только что выйдя из рук мастера. Крышка не была замкнута и отворилась легко, без единого звука. Ослепительно яркий свет заставил романтика зажмуриться. Когда же он рискнул опять

раскрыть глаза, сиянье ослабело, и стало очевидно, что источником света является веник, а точнее, его невыносимо яркие спицы-прутья, переходящие в более тусклую металлическую рукоятку. Рядом с веником располагался толстый том в красной обложке, на которой зловеще поблёскивало золотое тиснёное название: «Справедливость и пути достижения оной», — сочинение Болтана Самосуя.

Гицаль потянулся было к сундуку, но, случайно коснувшись веника, скривился от боли. На руке краснело и расползалось пятно ожога: стальные прутья были раскалены добела. В следующий раз он был куда осторожнее. Однако, хотя книга, казалось, абсолютно свободно покоилась в сундуке, какая-то невидимая сила словно гвоздями приколотила её ко дну. Стараясь больше ни о чём не думать, он вытащил из-за пазухи портрет и, мимоходом глянув на женское лицо, опустил его в разинутую пасть сундука. Глаза женщины, наполнившись слезами, блеснули ему из глубины, и в ту же секунду крышка с треском захлопнулась — он едва успел отдёрнуть руку.

В комнате сразу потемнело. Сундук внезапно покрылся налётом пыли и плесени, осел и как-то рассохся. Теперь он ничем не отличался от того сундука, который Гицаль не раз созерцал в доме своего бывшего приятеля Болтана Самосуя. Знакомый с давнего времени огромный ржавый замок, как всегда, висел на его обшарпанном боку.

От удара табуретки одна петля оборвалась, и замок повис на другой. Гицаль вторично откинул крышку. На дне рядом со ржавым стальным веником знакомо желтела пухлая пачка страниц в картонной обложке, на которой размашистым почерком Болтана было выведено: «Справедливость и пути достижения оной».

Так и не отважившись взглянуть на портрет, Гицаль захлопнул сундук и вышел вон.

Что-то неуловимо изменилось: то ли потеплело, то ли посветлело вокруг от снега, который на удивление быстро, за время, пока он находился в доме, толстым покрывалом окутал Страну Хламов. Издалека заметная на снегу, размахивая руками, к нему приближалась маленькая чёрная фигурка. Писатель Свинтарей, что-то громко и невразумительно выкрикивая, обхватил его за плечи и хрипло зарыдал, только и успев выдавить из себя: «Смок…»

Свинтарей разжал руки и недоуменно огляделся. Он был один. Гицаль Волонтай внезапно сгинул, как будто растворившись в его руках. Только в трёх шагах от писателя, на бровке заполненной снегом ямы, торчала лопата, а на её отполированном черенке зеленели мелкие нежные ростки — такие неправдоподобные и лишние на фоне белой неподвижности последнего мартовского снега.

ВЕЛИКИЙ МАГИСТР

В самом факте того, что кто-либо одновременно находится в двух географически различных пунктах, нет, безусловно, ничего удивительного. И если неотступно следовать за иностранцем Шампанским, наблюдать, как он выходит на свою обычную утреннюю прогулку, как обедает, ложится спать, как начинает лысеть, как постепенно выпадают у него зубы, — это само по себе не является опровержением того, что одновременно он может находиться где-то ещё, возможно, за пределами Высокого квадратного забора. Вот и теперь, несмотря на то, что за Шампанским, прогуливающимся по улице Тонких-до-невидимости намёков, следует тысячеглазая процессия, — ничто не препятствует ему быть совершенно на иной улице другого города.

Если здесь Шампанского со всех сторон окружают плакаты и транспаранты, там обходятся без таких вот наспех нацарапанных лозунгов, а вместо них на фоне тёмно-синего моря маняще поблёскивают гирлянды развешанных вдоль набережной фонариков.

Если здесь, на асфальте, валяются опрокинутые мусорные урны, там вдоль чистеньких улиц по-дружески светятся окна уютных, чаще всего одноэтажных домиков.

Если здесь от монотонного тяжёлого гула толпы чувствуешь себя оглушённой рыбой, там в мягких сумерках таинственно мигают в глубине маленьких,

словно игрушечных кофеен ночники в форме распустившихся цветов, а в удобных креслах сидят один, самое большее — два посетителя.

Если эта улица упирается в серую облупившуюся стену Фабрики-кухни парадоксальных идей, то другая свободно поднимается ввысь и теряется в невысоких, желтовато-красных от закатного солнца горах, пересечённых глубокими иссиня-чёрными трещинами.

«Всё это именно так!» — бросил Шампанский толпе, неотступно провожающей его и свистом и гиканьем реагирующей на каждое сказанное им слово. Тем не менее никто из манифестантов не осмеливался дать волю кулакам, ибо Шампанский, как и прежде, числился персоной грата, а это не так уж и мало, потому что отсутствие единственного на всю Хламию настоящего иностранца могло бы привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Последнее не нуждалось в доказательствах: ясно и так, что существование коренного угнетённого большинства само собой подразумевает необходимость бытия некоренного меньшинства иностранцев-эксплуататоров. Кроме этого самоочевидного факта в случае исчезновения Шампанского шумной толпе хламов-манифестантов не было бы никакого смысла гоготать, свистеть и размахивать перед его лицом своими национальными святынями.

«Итак, — продолжал, обращаясь ко всем и одновременно ни к кому, Шампанский, — там всегда дует тёплый ветер и всё залито ослепительным солнечным светом, от которого так приятно спрятаться в полумраке какого-нибудь храма или же церковки, осенённой экзотической купой деревьев, и разглядывать на её замшелых стенах замысловатые иероглифы, которые тем не менее кажутся знакомыми — то ли из детских

сновидений, то ли из жизней, прожитых задолго до этой...»

Оказавшись в своём особняке, Шампанский первонаперво плотно занавесил окна, причём толпа вокруг особняка ещё долго не расходилась, давая иностранцу понять, что его пребывание в Хламии излишне. То один, то другой начинал время от времени жонглировать увесистым булыжником, делая вид, что вот-вот запустит им в окно особняка проклятого иностранца и аристократа, однако Шампанский спокойно уселся в кресло. И действительно, ни одного стекла не было до сих пор разбито: время уже было не то, хотя его отношения с коренным населением оставались весьма и весьма натянутыми.

Этому немало посодействовали недавние статьи на страницах «Правдивого хлама», ставившие под сомнение его политическую лояльность. Подлило масла в огонь и историческое эссе Уха Перекидника, профессора ФКПИ, в котором все тысячелетние беды хламского народа трактовались как результат деятельности некой таинственной организации, во главе которой стоял иностранец Шампанский. Эта организация была даже более древней, нежели сама Хламия, и иностранец Шампанский ещё в те допотопные времена был её Великим Магистром.

Именно ему принадлежала весьма сомнительная честь изобретения «Горькой полыни», любимого напитка хламов. Сочинение профессора было богато иллюстрировано: на первой же странице был изображён Великий Магистр в красной мантии на гигантской бочке «Горькой полыни». На его голове красовалась остроконечная шапка еретика, а длинная седая борода почти доставала до колен. Великий Магистр вгляды-

вался из-под руки в туманную даль, выискивая, не появится ли где первый простодушный хлам.

Достойна внимания и такая иллюстрация: два дюжих помощника Великого Магистра (в них легко можно было угадать диктатора Смока и кабатчика Лажбеля) железной хваткой стискивают скорчившегося бедолагу-хлама, которому Шампанский с сатанинской усмешкой вливает в глотку «Горькую полынь». Иллюстрация была выполнена с такой натуральностью и бесподобной утончённостью, что, казалось, сам покойный Крутель Мантель, знаменитый художник Хламии, прикоснулся к ней своей бессмертной кистью. (Необходимо отметить, что именно благодаря этой иллюстрации эссе Уха Перекидника приобрело необычайную популярность среди малограмотных мусорщиков, хотя и неизвестно, что именно привлекало их: любовь к искусству или тоска по «Горькой полыни», которая по неизвестным причинам внезапно исчезла с прилавков страны.)

Согласно эссе, всё богатство хламской истории сводилось к двум фазам, периодически сменяющим одна другую: фазе Поголовного пьянства и фазе Всеобщей трезвости. Во время Поголовного пьянства правит Великий Магистр и его сообщники, ставящие перед собой целью развал Хламии с последующей тотальной оккупацией её. В это время хламы забывают, как их зовут, когда и где они родились и какова их история и география. На них больше не распространяется «закон рода», и они в пьяном угаре клянутся друг другу в вечной любви и требуют снести стены Высокого квадратного забора.

В периоды Всеобщей трезвости те, кто ещё вчера валялся под забором, надевают белоснежные накрахмаленные сорочки и называют друг друга «дорогой

соплеменник». Все без исключения изучают свою историю и географию, а в свободные от занятий часы конопатят трещины в Высоком квадратном заборе. Шампанский в это время срезает свою длинную седую бороду, прячет её до лучших дней в сундук и весьма удачно маскируется под обычного хлама, при этом методично распивая «Горькую полынь». Однако его можно легко вычислить, ибо при виде национального триколора волосы у него встают дыбом, в связи с чем он никогда и ни перед кем не снимает своей шляпы, хотя его истинные намерения ни для кого не являются тайной.

Эссе заканчивалось знаменательной фразой: «И так будет всегда. Хламам никогда не положить конец иностранному засилью и не установить Тысячелетнего царства Всеобщей трезвости, покуда Хитер Смитер или какой-нибудь другой правитель не обратится с призывом к коренному населению и не освободится от менторства приставленных к нему кукловодов, — покуда не будет проведена полная *дешампанизация* страны, а затем её освобождение от иностранной оккупации. Это куда серьёзней, чем победа Насеканика Смелого над жабой Скаламбухой, которая, как и тиран Смок, — только одно из звеньев тайной агентуры Великого Магистра!»

Шампанский отложил ручку и огляделся. На стенах его приёмной глянцево поблёскивали прямоугольники картин, написанных им самим. Конечно, писал он их не для славы — Шампанский никогда не считал себя художником — просто необходимо было высказать то, что творилось у него внутри. Большинство картин, если внимательно в них всмотреться, являли собой некие туманные и расплывчатые пейзажи, выпол-

ненные в тонах, нигде и никогда не встречавшихся в Стране Хламов.

Однако за внешней мимолётностью и размытостью этих пейзажей таились какая-то необъяснимая глубина и холодный покой.

Около старых, очевидно, антикварных часов помещалась ещё одна картина, яркие и сочные краски которой заметно контрастировали с остальными полотнами. Почти всю площадь картины занимал обыкновенный кочан капусты, по виду только что срезанный с грядки. Поражала необычайная естественность и жизненность ярко-зелёных листьев. Казалось странным, что эта вещь, написанная с такой удивительной силой, могла принадлежать кисти дилетанта: кочан словно стремился скатиться с полотна и с глухим хрустом удариться о пол. Картина называлась «Ипостаси моего внутреннего Я» и символизировала некий гипотетический «кочан» внутреннего мира Шампанского. Один за другим отслаивались хрустящие, сочные листья, оболочки одного и того же, а в середине клубилась плодотворящая пустота, нечто вроде животворной сути всего на свете.

Вообще говоря, такая слоистость была свойственна не только одному Шампанскому: сама ассоциация внутреннего мира с кочаном капусты (не растущей к тому же в Хламии) была им услышана за столиком кабачка «Сердцебиение» от лишнего хлама и диссидента Деньгуба Мылицы. Разница между Шампанским и другими хламами заключалась именно в природе той пустоты, которая пряталась за капустными листьями. Если для хламов это был просто физический континуум (хламское слово), а по сути — ничто, то для Шампанского пустота являлась сверкающим, наполненным дыханием вечности началом — страной,

бледные копии которой туманно поблёскивали на стенах его приёмной. Однако приблизиться к ней, грубо обрывая листья, — безнадёжное и даже небезопасное дело: можно только спокойно и осторожно разворачивать их.

И ещё одно. Здесь, на клочке земли, обнесённом Высоким квадратным забором, существовали только так называемые лиственные оболочки Шампанского, а таинственная сердцевина «кочана» находилась в совершенно иной, необъятной и безграничной, стране.

Глухие удары над головой вывели Шампанского из состояния глубокой медитации: кто-то, тяжело грохоча, лез по жестяной кровле его особняка. Шампанский нехотя вышел на улицу и, задрав голову, без особого удивления увидел на самом гребне крыши молодцеватого, заросшего густой шевелюрой хлама, привязывающего к печной трубе национальный хламский триколор. Огромная толпа, как и Шампанский, задрав головы, с одобрением следила за работой смельчака. Радуясь как дети, хламы-зрители лупили себя по бёдрам, приплясывали, а кое-кто даже пытался затянуть нелёгкую мелодию хламского гимна. «Виктория! Виктория!» — раздавались раз за разом нестройные выкрики. В чём именно заключалась эта Виктория (Победа), до сознания Шампанского не доходило, ибо он ни словом, ни жестом не мешал хламу-энтузиасту привязывать флаг к трубе своего особняка.

И тут едва не случилось непоправимое. Сделав свою работу, смельчак, очевидно, почувствовал себя героем, расправил плечи и ступил так уверенно, как если бы он находился не на скользкой и гладкой крыше, а на ровной, недавно отремонтированной мостовой проспекта Энтузиастов. Этот его манёвр сопровождался

бурной овацией. В ту же секунду, поскользнувшись и нелепо взбрыкнув ногами, он с грохотом покатился по жестяному склону. Толпа, только что скандировавшая «Виктория! Виктория!», подалась назад и разом присела. Один только Шампанский сохранил полное самообладание. С чисто иностранным спокойствием он сделал два необходимых шага навстречу бедолаге и на лету подхватил его. Толпа облегчённо загудела, а спасённый, которого Шампанский осторожно поставил на ноги, в течение минуты не мог ничего вымолвить и только шумно сопел и таращил глаза. Затем, окончательно убедившись, что уцелел, он быстрым движением высвободился из рук своего спасителя и, как бы невзначай наступив ему на ногу, обиженно прошипел: «Ну вот ещё! Не твоего ума дело!» Ничего не ответив, Шампанский круто повернулся и исчез за дверями.

К городу подступали невысокие горы, зелёная долина незаметно переходила в пустыню. Сплошь залитая яростным солнцем, эта мёртвая пустыня была, однако, полна какой-то невыразимой радости. Кремнистые, странные по форме вершины нависали над головой и казались живыми. И сам пейзаж при всей своей фантастичности и ирреальности был насыщен какой-то необычайной энергией. Казалось, тысячелетия навечно обосновались в этих горах и кружатся вокруг одинокого глаза трагически-прекрасного, окольцованного белыми ресницами соли горного озера, где не могла бы выжить ни одна бактерия…

На старых настенных часах хрипло пробило шесть. «Ба!» — промолвил Шампанский и, став перед зеркалом в позолоченной раме, примерил свою любимую фетровую шляпу. «Болваны!» — пробурчал он вслед за

тем, неведомо к кому обращаясь. Криво усмехнувшись своему отражению, он с удовлетворением отметил, что фрак на его сухопарой, долговязой фигуре сидит не хуже, чем обычно. «С днём рождения, уважаемый иностранец Шампанский!» — с изрядной долей сарказма, но не без торжественности поздравил он самого себя.

Вскоре, прихватив на всякий случай заграничный паспорт, на обложке которого красовался округлый золотисто-зелёный герб, являвшийся, безусловно, точной маленькой копией вышеупомянутого «кочана капусты», и свёрнутую в трубочку голубую тетрадь, куда он ежедневно заносил результаты наблюдений над самим собой, Шампанский вышел на улицу. «Ни отсутствие “Горькой полыни”, ни так называемое Возрождение не помешают мне, иностранцу Шампанскому, отпраздновать собственный день рождения», — примерно так рассуждал он, направляясь вдоль бульвара Обещаний в кабачок «Сердцебиение».

…Спустя без малого три часа иностранец, сильно не в духе и без голубой тетради, вернулся в свой особняк. Причём под его правым глазом красовался огромнейший синяк, формой и окраской напоминавший георгину, росшую у него под окном. Став напротив зеркала, Шампанский долго и внимательно изучал контуры синяка, подобно чернокнижнику, пытающемуся разгадать тайный смысл старинной криптограммы. «Круг замкнулся», — наконец мрачно выдохнул он, и было ясно, что на сей раз его мрачность не показная и сказано это отнюдь не ради красного словца.

С трудом оторвавшись от зеркала, Шампанский направился было к своему письменному столу с очевидным намерением продолжить то, чем он ежедневно занимался: заполнять страницы своего дневника. Но

споткнулся на полдороге и застыл неподвижно — причём на лице его появилось какое-то новое выражение.

Ослепительный зигзаг молнии распорол плотное ватное одеяло хламской ночи. Громыхнуло. Шквал крупных дождинок обрушился на жестяную крышу особняка, и старые часы в приёмной, звякнув в последний раз бронзовым маятником, замерли в предчувствии ужасных перемен. В чернильном мраке на картине возле часов шевелились, как живые, листья капустного кочана. Казалось, страшная разрушительная сила распирает кочан изнутри. Минута — и по его поверхности пробежала трещина, а из трещины вырвалось холодное серое свечение, заструившееся по её краям суетливыми, однако на удивление упорядоченными токами. В самой же трещине, как на экране, проносились то каменистые верхушки гор, то сверкающая поверхность мёртвого озера, то клочок бездонно-синего неба. Проносились — и сразу исчезали, только вращение токов становилось всё быстрее и быстрее.

Тень старика с растрёпанной седой бородой и в опущенной на глаза остроконечной шапке вдруг, как стальная лента, вырвалась из тела застывшего в коме иностранца. Вырвалась, словно из ставшей тесной поношенной одежды, и, как шило сквозь масло, пройдя через потолок и крышу, вонзилась в исполосованное фиолетовыми артериями молний небо. Острие шапки очутилось где-то в самой сердцевине клубящихся чёрных облаков, а сухие длинные руки старика распростёрлись над Хламией, подобно противоположным крылам гигантского креста, и упёрлись в западную и восточную стены Высокого квадратного забора. Тело исполина задрожало и стало дробно похрустывать от титанических усилий — и как бумажные затряслись

толстые, покрытые многовековой плесенью, старинные хламские стены…

Так по воле Великого Магистра началось землетрясение, едва не стёршее Хламию с лица земли. В панике, охватившей в эту ночь жителей страны, и сам Шампанский, ошалевший от ужаса, метался по особняку, лихорадочно запихивая в чемоданы раскиданные в беспорядке вещи. «Уеду, уеду, уеду», — механически, не чуя себя от страха и сжимая в потной руке заграничный паспорт, повторял он.

После землетрясения интерес хламов к Шампанскому и его особняку значительно снизился. Ослепший и оглохший, обклеенный со всех сторон пожухлыми листовками, с выцветшим триколором над трубой стоял особняк, подобный изгою посреди потрясённой до основания Страны Хламов. И никто не обращал на него внимания, ибо каждый в эти дни занимался своим: расставлял мебель, выносил осколки посуды, вставлял стёкла в разбитые оконные рамы, замазывал трещины в стенах, залечивал раны и ссадины.

Но вскоре опять послышались голоса: почему это в нелёгкий для хламского народа час испытаний не поступило никакой помощи от иностранной державы, гражданином которой является Шампанский? Ещё больше накалил страсти как всегда к месту появившийся памфлет Уха Перекидника «С кем вы, господа иностранцы?». Если отбросить чисто научную аргументацию, суть памфлета сводилась к следующему: особняк иностранца должен быть немедленно национализирован, поскольку он находится за пределами исторически сложившейся территории, где испокон веков жили все иностранцы (улица Заросшая сорняками), однако для того, чтобы хламы не забывали, кто

именно составляет коренное население страны, необходимо обязать Шампанского ежевечерне прогуливаться по Площади под неусыпным надзором хламского стяга, который полощется над шпилем Дворца правителей. Особняк же иностранца профессор призывал передать в вечное пользование семьям наиболее пострадавших от стихии коренных жителей.

После этого призыва необходимость решительных шагов в отношении ненавистного иностранца-угнетателя не мог бы оспорить никто. Поэтому не удивительно, что по первому снегу, собрав подписи всех заинтересованных сторон, стройная колонна манифестантов продефилировала к особняку Шампанского. Вероятно, для того, чтобы подбодрить себя, манифестанты раз за разом дружно восклицали: «Мы у себя дома!» и «Шампанский, убирайся к себе домой!» Последний лозунг совершенно не учитывал того, что Шампанский и так находился у себя дома. Несколько наиболее отчаянных голов, невзирая на уговоры, решили объявить голодовку. Объединившись в небольшую, но сплочённую группу, они уселись прямо на снег и объявили, что лучше умрут с голоду, но не позволят сосать кровь из многострадального хламского народа.

Во время всего этого из особняка не доносилось ни звука, так что было неясно, жив или мёртв знаменитый иностранец, вызвавший в народе такое брожение. Внезапно двери особняка заскрипели и приоткрылись. Между створками и косяком образовалась тоненькая щёлочка. Все голоса, как по команде, стихли, и сотни глаз в страстном нетерпении уставились на эти, хотя и обшарпанные, но всё ещё украшенные аристократической бронзовой ручкой двери. Прошло всего несколько минут, а казалось, что уже целую вечность они стоят вот так, в напряжённой, как струна, тиши-

не. Неохотно, словно при замедленной киносъёмке, дверь отворилась. Дрожь ужаса пробежала по коже всех присутствующих, как будто порыв ветра остудил их разгорячённые лица: смертельно бледный, на пороге собственного особняка стоял Великий Магистр, он же — таинственный иностранец Шампанский. От головы и до пят на нём не было и признака никакой одежды. Последнее означало, что Шампанский был абсолютно голый…

ОДИН ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ СВИНТАРЕЯ

Богемовцы частенько любят порассуждать за рюмкой «Горькой полыни» о свободе духа и своих самых заветных желаниях. Однако если спросить любого, чего ему хочется именно в эту минуту, то вряд ли кто выскажет что-то определённое. И только Сугней Чурила имел совершенно конкретное и точное желание: он мечтал отгородиться от всех глухим забором.

В связи с этим своим пылким желанием он ещё во времена правления Верени Водаёта выменял в Семейном общежитии мусорщиков бочку «Горькой полыни» на топор, пилу, рубанок и другие необходимые инструменты, завернул их в промасленную онучу и закопал под завалинкой своего дома.

При кровавом тиране Смоке Чурила вынес из национализированного Нескучного сада, в то время раскорчёванного под канал, множество всякой деревянной всячины и припрятал на чердаке и в подвале до лучших дней.

Как только Страна Хламов ступила на порог Возрождения, Чурила вытащил спрятанное во двор и настрогал огромный штабель ровных и гладких досок.

После землетрясения и того хаоса, который воцарился в Хламии в результате непримиримой борьбы подвижников с неподвижниками, неугомонный мечтатель в одну ночь огородил свою усадьбу глухим дощатым забором…

Той ночью сквозь сон до писателя Свинтарея донёсся мерный стук. Свинтарей поджал губы и тихо застонал. Он попытался было проснуться, однако сон стал ещё тревожнее. Глухой и назойливый звук, доносившийся снаружи, перенёс его в недавнее прошлое, на дно глубокого, промёрзшего насквозь канала.

Свинтарей долбит кайлом задубевшую землю, а по бокам стоят двое: веснушчатый, с плешью и широкой бородой коротышка и долговязый верзила, гладко выбритый, в пенсне и шляпе.

Когда писатель прерывает работу, чтобы подышать на одеревеневшие от мороза пальцы, коротышка и долговязый хватают его под локти и, как по команде, начинают что-то бормотать, точнее, нашёптывать на незнакомом ему языке. Для того, чтобы достать до Свинтареева уха, коротышка делает всё возможное: становится на цыпочки, подпрыгивает, а затем, убедившись, что у него ничего не получается, карабкается на Свинтарея. Безбородый, в свою очередь, складывается почти пополам, причём гладкий и холодный подбородок его тычется в щеку писателя, заставляя того вздрагивать и покрываться потом. Одновременно борода коротышки щекочет ему ухо.

Свинтарей не понимает ни одного слова из того, что шепчут его странные собеседники, однако догадывается, что они во всём друг другу противоречат. Снизу, под ногами, слышатся глухие удары, как будто кто-то четвёртый копает под ними тоннель, и коротышка сползает с писателя, а долговязый выпрямляется.

Свинтарей хочет взяться за кайло, однако ни тот, ни другой не выпускают его локти. Коротышка бормочет что-то невразумительное и указывает пальцем на обсыпанную камешками землю, откуда доносятся глухие раскатистые удары, а гладкообритый шут,

напротив, тычет свободной рукой ввысь, заставляя писателя взглянуть за гребень Высокого квадратного забора, через который, словно складки раздувшегося брюха, переваливаются ядовито-жёлтые облака. И оба бесцельно и настойчиво пытаются что-то объяснить Свинтарею…

Писатель раскрыл глаза и понял, что сегодня непременно что-нибудь должно случиться. Там, где он побывал и откуда недавно вернулся, он постепенно научился доверять своим предчувствиям, которые обострились, как бритва, и почти всегда сбывались. Он слез с кучи рукописей, на какой теперь спал, подошёл к посветлевшему окну и окаменел: в сумерках, заслоняя тёмную громаду Высокого квадратного забора, белел новенький дощатый заборчик. Не веря своим глазам, Свинтарей в чём был выбежал на улицу и понял, что не ошибся: вокруг особняка его соседа Сугнея Чурилы возвышался глухой, без ворот и без единой щёлочки заборчик, маленькая копия Высокого квадратного забора. Это зрелище настолько поразило бывшего народного писателя, что он даже не разозлился, когда увидел, что его сосед, отгородившись, прихватил щедрый кусок огорода, испокон веков принадлежавшего роду Свинтареев.

Здесь необходимо отметить, что ничто не могло бы так поразить хлама, как вид обыкновенного забора, ибо жители Хламии их отродясь не ставили. Не ставили по той простой причине, что в стране, обнесённой с незапамятных времён Высоким квадратным забором, надёжно защищающим хламов от враждебного Зазаборья, никому ни разу не приходило в голову поставить свой собственный, личный заборчик.

Больше того, когда кусты под окнами домов разрастались так, что начинали мешать хламам созерцать

городские стены, на них немедленно обрезали лишние ветки. И после очередной спячки, перед тем как причесаться и умыться, заспанные хламы перво-наперво подбегали к окнам, чтобы убедиться, что с милым их сердцу забором ничего не случилось, и он как и прежде стоит там, где и стоял во все времена извилистой хламской истории.

Потому понятно удивление Свинтарея, который, не отрываясь, рассматривал удивительное сооружение, поставленное его соседом Чурилой. Между тем хламы, не рискуя (как стая ворон на помойке) слететься к необычайному сооружению, сбились в кучку неподалёку и шёпотом высказывали друг другу самые невероятные версии, ни одна из которых не казалась Свинтарею правдоподобной. Характерно, что привыкшие во времена правления диктатора Смока всего бояться и ничему не противоречить, хламы в последние дни, почуяв вкус свободы, заметно осмелели, а иные так стали проявлять настоящее нахальство. Но теперь, в ситуации, когда возникла необходимость сделать самостоятельный шаг, они переполошились и, сгрудившись, расположились поодаль. В отличие от присутствующих, писатель накопил на строительстве канала опыт, ставивший его намного выше этих нахально-трусливых марионеток, детей того времени, которое они сегодня столь яростно клеймили. Без лишних рассуждений он приблизился к забору и несколько раз ударил кулаком по доскам.

Установилось тяжёлое молчание, и внезапно из-за забора вырвался, вспарывая напряжённую тишину, глухой, знакомый всем голос. «Каждый настоящий хлам обязан знать от колыбели: Хламия — лучшая страна в земной купели!» — выводил хриплый баритон Чурилы слова хламского национального гимна.

Безусловно, Чуриле в этот счастливый момент, когда сбылась его заветная мечта, хотелось спеть совсем другую, родственную его простой душе песню, однако, к сожалению, ничего такого он не знал и был вынужден петь хламский гимн — единственную вещь, начальная строфа которой была ему известна от первого до последнего слова.

Словно курица, вспомнившая, что она тоже птица, взлетал Чурилин голос на недостижимую высоту, чтобы со всего размаха грохнуться назад, ободранным сверху донизу. Для этого надо было иметь немалое мужество, и, судя по всему, певец за забором располагал им в достаточной степени.

Закончив петь, Сугней откашлялся и вновь затянул то же самое: «Каждый настоящий хлам обязан...» Затем ещё раз всё сначала. На четвёртом разе Свинтарей стал пробиваться сквозь толпу слушателей, плотной стеной окруживших забор.

По пути он заглядывал в лица тех, кто с каким-то необыкновенным почтением внимал хриплому голосу, и его поразило издавна знакомое ему выражение, которое, подобно копии одной и той же маски, лежало на большинстве лиц. «Круг замкнулся», — внезапно пришло ему в голову, и холодная пустота тёмного бессмысленного существования вновь завладела им. На лицах хламов, на их одежде, на постройках вокруг проступил тонкий налёт тления и гнили, и всё окрасилось в мертвенный зеленоватый цвет...

Свинтарей вышел за город и остановился на покрытой пнями и кочками полосе, тянущейся вдоль Высокого квадратного забора. Пронзительный ветер гнал разнообразный мусор, мял его, швырял в ободранные, разбухшие от воды брёвна. И куски мусора

не сразу падали вниз, а, немного повисев на заборе, невольно и неохотно сползали на землю. Казалось, безнадёжно состарился Высокий квадратный забор, состарилась сама хламская держава. «Родина», — с тяжёлым и горьким чувством прошептал Свинтарей.

После недавнего землетрясения между бревен Высокого квадратного забора образовалась извилистая трещина, из которой несколько дней кряду сочилась желтоватая жидкость со специфическим запахом «Горькой полыни». Спустя некоторое время жидкость эта затвердела и стала прозрачной. Теперь сквозь щель в заборе можно было, как через толстое стекло, заглянуть в закрытое для хламов Зазаборье, и потому около забора собиралось немалое число любопытных.

В прошлом за подобное любопытство можно было лишиться не только глаз, но и головы, однако в настоящее время и не такое сходило с рук. Впрочем, никто из тех, кто наблюдал загадочный зазаборный мир, не мог сказать о нём ничего определённого; все, однако, соглашались, что увиденное снаружи намного лучше того, что находится внутри. «Пространство и время хламов ограничены не Высоким квадратным забором, а вековой тоской и теснотой самого мира — соединением абсолютной инертности жизни и бесконечного возвращения к одному и тому же…» — уныло думал писатель, обходя приникших к щели хламов, которые, переступая с ноги на ногу, созерцали внезапно открывшееся им Зазаборье.

Тем временем ветер утих. Заметно похолодало. Земля покрылась серебристой плёнкой инея, красивой и неуместной. Стало смеркаться. С Площади доносился глухой, как шум морского прибоя, рокот. Стараясь больше ни о чём не думать, Свинтарей повернулся и пошёл туда, где отдельные голоса сливались в единое нестройное и тяжкое клокотание.

Подойти к особняку Шампанского было непросто. «Мы у себя дома!» — летело со всех сторон. Недоуменно озираясь, Свинтарей пробился-таки через плотные шеренги манифестантов к знакомому с детства зданию. Величественное по архитектуре, оно было пёстрым от наклеенных на его стены печатных листовок. «Шампанский, убирайся к себе домой!» — с пылом скандировала между тем толпа.

И тут нехотя, как при замедленной киносъёмке, открылись тяжёлые двери. Все, как по команде, умолкли, а затем, шумно выдохнув, подались назад. Из тёмного проёма на крыльцо выдвинулась знакомая долговязая фигура. Смертельно бледный в серых сумерках перед толпой предстал иностранец Шампанский. От головы до пят на нём не было и признака никакой одежды. Одним словом, Шампанский был абсолютно голый…

Раздались приглушённые крики: это передние, в панике кинувшись прочь, давили задних. Вскорости на Площади, кроме нескольких раздавленных толпой несчастных, неподвижно лежащих на снегу, остались только писатель и иностранец.

Словно не замечая своего старого приятеля, Шампанский сошёл с крыльца и уверенной походкой зашагал на Площадь, безразлично переступая через раздавленных.

Свинтарей проводил его удивлённым взглядом, потёр пальцами виски и уныло поплёлся домой.

Из-за свежевыстроенного забора летели жирные чёрные комья, которые сразу же после падения рассыпались на снегу, покрывавшем булыжник улицы Туманного парадокса. «Иностранцы споили хламский народ! Смерть Шампанскому!» — бросилась Свинтарею в глаза надпись, наспех нацарапанная на

досках. И он подумал, что почти все многочисленные начинания в Хламии, несмотря на их внешнее несходство, кончаются такими вот неподвластными времени призывами, — и от всего сердца пожалел иностранца Шампанского.

Ухватившись за неровный край не такого уж и высокого заборчика, Свинтарей подтянулся на руках и заглянул во двор. В сумерках он разглядел маленькую коренастую фигуру с лопатой: его сосед яростно трудился, прокапывая вдоль заборчика узкую, но довольно-таки глубокую траншею. Увидев седую голову, Чурила изо всех сил швырнул в неё земляным комком и, не промахнувшись, дико загоготал. Однако в следующую секунду, узнав писателя, присел на бровку траншеи и беззвучно заплакал, вытирая слёзы тыльной стороной своей мозолистой ладони.

И писатель на этот раз от всей души посочувствовал Сугнею Чуриле, который, отгородившись от хламов, не придумал ничего лучше, чем прокопать вдоль своего забора траншею — точную копию того самого канала, что должен был соединить Пруд с самим собой и на постройку которого Свинтарей потратил столько сил и здоровья.

Писатель соскочил вниз, вытер с лица грязь и направился к своему дому. Голова нестерпимо болела, словно маленькие молоточки колотили откуда-то изнутри по затылку, по лбу, по вискам. Он миновал влажную темноту коридора, и резкий оконный свет, прямо-таки физически давивший на веки, обдал его неприятным холодком.

Свинтарей приблизился к стеклу и задёрнул занавеску — единственный луч пробился через преграду и зажёг на куче рукописей круглое пятно. Писатель, как заворожённый, подошёл к ним и внезапно, вспомнив

нечто важное, полузабытое, начал ворошить пожухлую, заплесневевшую гору. Наконец рука его наткнулась на то, что он искал: толстый фолиант в побитой молью кожаной обложке был на месте.

Страницы книги высохли, а строчки, написанные цветными чернилами и краской — золотой, красной и чёрной, перекосились и наползали друг на друга. Смысл же этих строчек ускользал от Свинтарея, как, бывает, маленькая ловкая ящерица выскальзывает из рук. Глаза от напряжения слезились, и писатель почувствовал, как кровь ровными толчками давит в висок. Внезапно ему показалось, что он давным-давно блуждает в сумрачном подземелье, миновал уже самые извилистые ходы и видит, наконец, что где-то впереди маячит выход. Постепенно смысл написанного стал доходить до него.

Невидимый, о котором шла речь в книге, был похож на свежий ветерок. Только колыхал этот ветерок не траву, а его чувства, словно рябь пробегала по неподвижной до этого поверхности Свинтареева сердца. Невидимый был в каждой клеточке его тела, в каждой живой молекуле: он не слушал, а чувствовал; не смотрел, а знал. Сугней Чурила, иностранец Шампанский и он сам, писатель Свинтарей, оказались один в другом. Не было уже ни Сугнея, ни Свинтарея, ни Шампанского — только одна необычайная суть, похожая и непохожая на всех их вместе взятых.

Свинтарей перелистнул последнюю страницу древнего фолианта, и оттуда выпал коричневый листок. Писатель отложил фолиант, поднял бумажку и поднёс её к лицу. Это было четверостишие, им же когда-то и написанное:

Скажите, есть ли то место, где
Невидимый будет мне ближе?..

Он тихою музыкой стал в темноте —
И никто её не услышит…

Старый писатель накинул на себя потёртый шерстяной плед и лёг на кучу рукописей, но сон не приходил. Поворочавшись с боку на бок, он встал, расстелил на полу плед и, швырнув на него всю кипу, связал её в узел. Подошёл к чудом уцелевшему в доме шкафу и достал бутылку «Горькой полыни». Осторожно держа её в руке, направился к двери, прихватив попутно узел с собой.

* * *

В полночь на берегу Пруда можно было наблюдать удивительную компанию. Перед костром, рядом с которым поблёскивала наполовину опустошённая бутылка, сидели трое: веснушчатый с плешью и широкой бородой коротышка, приземистый с редкими седыми волосами и впалыми щеками старик и костлявый, закутанный в потёртый плед долговязый верзила. Коротышка и старик, не мигая, глядели на приплясывающие огненные языки, а долговязый моргал, подрагивал и дробно лязгал зубами — всё никак не мог согреться. Все молчали, и лица их были одинаково окрашены красными отсветами пламени. Седоволосый изредка приподнимался, вытаскивал из бумажной кипы, на которой сидел, несколько листков и бросал их в огонь. И тогда в чернь ноябрьского небосвода вскидывались яркой цепочкой искры, через секунду гаснущие и исчезающие навсегда. А с неба на плечи этой живописной компании падали и неторопливо превращались в капли воды первые пушистые снежные хлопья.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНЬГУБА

Особняк Деньгуба Мылицы находился на улице Туманного парадокса по соседству с домом поэта Хитера Смитера. Но, помимо этого случайного совпадения, между строениями не было решительно ничего общего ни внешне, ни, тем более, изнутри. Например, если перекошенная дверь жилища Хитера Смитера никогда не запиралась и по нескольку раз в день весело приветствовала хозяина ржавым и пронзительным визгом, то массивная, обитая толстыми металлическими листами дверь особняка Деньгуба Мылицы не имела привычки открываться, поскольку была постоянно заперта изнутри. Поэтому казалось, что дверь Мылицы завистливо прислушивается к резкому и нисколько не похожему на её всегдашнее молчание визгу бешеных петель своей свободолюбивой соседки.

Если стены дома Хитера Смитера были, в общем-то, не стены в общепринятом смысле, а попросту наспех приколоченные друг к другу гипсолитовые щиты, вместо обоев обклеенные пожелтевшими от времени экземплярами «Правдивого хлама», то сложенные из толстых брёвен стены особняка Деньгуба напоминали ограждение какой-то средневековой башни, возведённой для защиты от воинственных соседей. Изнутри эти стены были обиты толстым слоем тёплого и мягкого на ощупь войлока.

Если сквозь периодически распахнутые настежь двери и украшенные остатками выбитых стёкол окона

жилища Хитера Смитера можно было постоянно наблюдать коренастую фигуру поэта, которая, тяжело ступая, перемещалась из угла в угол, либо, сгорбившись у стола, выводила на измятом листе бумаги какие-то никому не ведомые каракули, то густо зарешечённые и наглухо задёрнутые изнутри зелёными занавесками окна особняка Деньгуба Мылицы не пропускали ни единого луча хмурого хламского света и, конечно, не давали возможности рассмотреть хотя бы какой-нибудь фрагмент того, что происходит внутри. Мёртвая тишина за этими окнами невольно наводила на мысль, что в особняке, принадлежащем Деньгубу Мылице, давно уже никто не живёт, а, возможно, в нём никогда и никого отродясь не бывало.

Впрочем, одна деталь в описанной конструкции заставляла всё-таки думать иначе. В обитой толстым металлическим листом двери особняка Деньгуба Мылицы имелась расположенная на высоте человеческого роста узкая, специально прорезанная, похожая на амбразуру, прямоугольная щель. Сквозь неё осуществлялись контакты Деньгуба с окружающим его пространством. Происходило это так: каждое утро неподалёку от дверей особняка останавливалась железная тачка, доверху наполненная какими-то продолговатыми пакетами. Тачка появлялась, разумеется, не сама по себе — её, пыхтя и обливаясь потом, прикатывал кривоногий и кряжистый хлам по имени Чурила. Совершив последнее усилие, он с трудом останавливал тачку, после чего подолгу тщательно вытирал с лица пот. Затем костяшками пальцев несколько раз постукивал в полугерметичную заслонку, очевидно, специально подвешенную над прорезью. Спустя какое-то время заслонка беззвучно откидывалась и в прорези появлялся чей-то полный подозрения и страха зрачок.

Его обладатель в течение нескольких минут тщательно изучал гостя, затем из прорези начинали вываливаться пакеты, точным подобием которых была заполнена упомянутая выше железная тачка. Чурила собирал их все до единого, выкладывая затем небольшую горку расположенную в непосредственной близости от тачки. Следующий этап работы состоял в аккуратном проталкивании вновь прибывших пакетов внутрь прорези и перемещении таких же, но очевидно уже использованных пакетов всё на ту же тачку. Секрета, впрочем, тут никакого не было — попросту таким образом Деньгуб Мылица получал необходимый ему для нормальной жизнедеятельности провиант и бутылку «Горькой полыни» в придачу, приобретённые для него Чурилой в единственной на всю Страну Хламов продуктовой лавке, а также тщательно выглаженное бельё и прочие необходимые принадлежности. На этом процесс приходил к своему неизбежному завершению, чтобы с математической точностью начаться с нуля и в строго определённое время произойти на следующее утро. Финансирование такого циклического торгового оборота, разумеется, было обязанностью Деньгуба Мылицы. Собственно говоря, к этому и сводились все многообразные и сложные контакты Деньгуба и окружающего его мира.

Кто же такой был Деньгуб Мылица? На этот вопрос ответить было нелегко. Боявшийся любой неприятности, любого мелкого конфликта, он с самого раннего детства ушёл глубоко в самого себя, да там и остался. Обосновавшись в наследственном особняке и получив от родителей солидное состояние (несколько сот тысяч осьмаков), Деньгуб совершенно не представлял, как

распорядиться этими, по тем временам весьма значительными деньгами.

Постепенно он превратился в самого настоящего лишнего хлама. Дело в том, что Деньгуб Мылица, вообще-то говоря, был хламом необычайно стеснительным и застенчивым, избегающим малейшей неприятности и столкновения с кем бы то ни было. Он унаследовал от родителей не только особняк и деньги, но ещё и какое-то, скорее всего, наследственное заболевание. Больше всего на свете он боялся, что кто-нибудь или что-нибудь неожиданно дотронется до него. Ещё в ранней молодости в тех редких случаях, когда он, собравшись с духом, совершал коротенькие прогулки около своего дома, ему иногда казалось что кто-то вот-вот дотронется до него, залезет ему под воротник, а там уже совсем недалеко до мягкой, гладкой, ничем не защищённой кожи. Остроугольный, некомфортабельный и равнодушный к его страданиям мир в такие моменты обрушивался на него всей своей массой. Поэтому Деньгубу Мылице, по сути дела, ничего другого не оставалось, как, запершись в своём особняке, предаться покою, тишине и отсутствию всякого контакта с окружающим. По его просьбе Сугней Чурила произвёл некоторые работы по укреплению особняка: обил его со всех сторон кровельным железом, зарешетил окна чугунными решётками и заменил крепкую сосновую дверь на ещё более прочную — дубовую. А так как он был мастер на все руки, то Деньгуб Мылица как-то, собравшись с духом, доверил ему выстелить весь свой дом изнутри войлоком. Нечего и говорить, что такая работа обошлась ему в копеечку. В центре же потолка Чурила, по специальному указанию Деньгуба, выпилил небольшое прямоугольное окошко, надёжно защищённое массивным непробиваемым стеклом.

На этом работа окончилась, и Сугней Чурила взял на себя регулярные поставки продовольствия, без которых затворник уж никак не мог бы обойтись, а Деньгуб Мылица передал ему связку ключей от замков особняка и поручил выбросить её на городскую свалку. Дверь в особняке была устроена так, что выйти наружу, не открыв замок, было невозможно, и, таким образом, возможность выхода в угрожающий Деньгубу внешний мир была, наконец-то, окончательно устранена. Этот завершающий шаг принёс Деньгубу Мылице некоторое относительное спокойствие.

С утра до ночи просиживал Деньгуб, приняв таинственную позу — так называемую позу лотоса — расположившись в геометрическом центре прямоугольника на мысленном пересечении его диагоналей. Этот прямоугольник был не что иное, как сноп бледного света, просачивающегося через окошко в потолке. Закинув голову навзничь, он, практически не моргая, созерцал открывающуюся через окошко бесконечность, где, как он предполагал, находилось полное сочувствия к нему Око Невидимого. Деньгуб воображал себя его мельчайшей, микроскопической частицей, его в миллион раз уменьшенной копией и в то же самое время считал себя его сыном. Другие хламы тоже были как бы его сыновья, вот только их затянула в себя бессмысленная борьба за место под солнцем (если бы оно догадалось заглянуть в проём Высокого квадратного забора), а также грубая и неотвратимая повседневность, из-за которой они лишались малейшей способности почувствовать что-либо по-настоящему возвышенное. Захлебнувшись в быте, прочие хламы не могли и представить, что истина — это не безумная вражда и постоянная забота о бутылке «Горькой полыни», а нечто иное: духовная радость, внутреннее спокойствие,

отсутствие желаний, самоотречение и, в конечном итоге — слияние с Невидимым.

Как-то утром, придя в себя после очередной зимней спячки, Деньгуб, как и любой хлам в этой ситуации, решил промочить горло глотком «Горькой полыни». Но перерыв все привезённые Чурилой пакеты, он не обнаружил главного — заветной бутылки. На сей раз, позабыв об излюбленной позе лотоса, Деньгуб принялся нервно, неуверенными шагами слоняться по войлоку, плотно покрывающему все полы его обширного особняка. До него никак не доходило, что, собственно, могло нарушить такой привычный и милый сердцу жизненный уклад. Несомненно, должно было произойти нечто чрезвычайное. Но что именно, он, сидя в наглухо запертом доме, конечно, не мог определить.

Подойдя к двери, он прильнул к «амбразуре», пересекавшей обитую металлом поверхность, и приоткрыл заслонку. На пол медленно опустился листок, который с большим трудом можно было назвать белым, настолько он оказался смятым и засаленным. После долгих усилий Деньгубу удалось разобрать корявые каракули Сугнея Чурилы и попытаться осознать прочитанное.

«Революция! — писал Чурила. — Всё к чертям собачьим! Какой-то громила, зовут Смок, забил правителя до смерти, и всё полетело к чёрту! “Горькой полыни” как не бывало: пустые полки. Какую-то еду раздобыл и пока мог притаскивал. Уже стали привыкать, но как назло вмешался твой сосед, поэт несчастный. Видно, писать надоело, так он взял и полез в политику. Теперь еды тоже не доищешься, о “Горькой полыни”, понятное дело, нечего и говорить. В общем, ухожу, ключи ищи в белье».

Деньгуб порылся в принесённых Сугнеем пакетах с бельём и нашёл ключи, которые его сердобольный приятель, к счастью, не выбросил на городскую свалку.

Дни потянулись медленно и скучно. Деньгубу пришлось перейти на двухразовое питание, да и оно сводилось исключительно к полусырой овсяной каше, которую он кое-как выучился готовить. Примерно до ноября ничего существенного не происходило. Позу лотоса Деньгуб стал использовать всё реже и реже.

Однажды ночью его разбудили раскаты грома и кривые зигзаги молний, сплошной огненной сеткой повисшие над окном в крыше его особняка. Войлочное покрытие стало менять свой цвет, перебирая все оттенки от чёрного до ослепительно-белого. И вдруг, как будто дирижёр махнул палочкой, — громовой оркестр умолк, молнии погасли и на несколько секунд воцарилась гробовая тишина. Затем пол под ногами Деньгуба зашевелился, как живое существо, войлок встал дыбом и стал напоминать поверхность моря, по которому гуляют рассвирепевшие валы. Они сшибли Деньгуба с ног и куда-то поволокли, а так как плавать он не умел, ему только и оставалось, что истошно вопить и при этом дёргать хаотично и одновременно всеми своими конечностями.

Как впоследствии выяснилось, это было то самое землетрясение, которое едва не стёрло Хламию с лица земли. Впрочем, оно продолжалось недолго, считанные минуты, иначе особняк Деньгуба, как крепко он ни был сколочен, вряд ли бы устоял.

Лёжа на спине, Деньгуб бессмысленно таращился в прояснившийся и теперь густо усыпанный звёздами клочок неба, который только и позволял ему увидеть застеклённый прямоугольник в крыше его особняка.

Рот его беззвучно открывался и захлопывался, как створки устрицы, но было нетрудно догадаться, что он повторяет слова молитвы, благодаря Невидимого за чудесное избавление.

После землетрясения Чурила так и не объявился (как мы знаем, он приступил к строительству маленького личного заборчика вокруг своей усадьбы, точной копии Высокого квадратного забора.) Ещё целую неделю просидел Деньгуб в позе лотоса, практически ничем не питаясь. Всё это время он, не переставая, консультировался со своим духовным Отцом, вопрошая его, каким наиболее приемлемым способом он мог бы, будучи любимым сыном Невидимого, в чём он окончательно уверился, выйти из сложившейся ситуации. То ли уйти из дома в поисках пропитания, прихватив с собой набитую монетами сумку, то ли, подчинившись судьбе, умереть голодной смертью, проведя остаток дней в молитвах и пении псалмов в честь Невидимого. Постепенно ему стало казаться, что он слышит голос Отца, вразумляющего его, что выходить на улицу не имеет смысла, поскольку голодная смерть позволит ему во всяком случае сохранить свою самость, не омрачив при этом ему одному открывшиеся вечные истины, и испустить последний вздох, приняв священную позу лотоса.

Почти склонившись к такому решению, Деньгуб Мылица неожиданно вздрогнул, выведенный из состояния прострации громким и нахальным стуком в обитую листовым железом дверь. Кое-как отодвинув заслонку, измученный голодом и жаждой любимый сын Невидимого обнаружил около порога первого в своей жизни подвижника. Коренастый, с повязанным вокруг шеи малиновым платком, незнакомый ему

субъект сжимал между двумя массивными челюстями самокрутку под названием козья ножка. Выпустив колечко дыма, подвижник процедил прямо в осунувшуюся физиономию Деньгуба:

— Ты, как я погляжу, диссидент. Выходи, сегодня нам нужно хотя бы парочку таких, как ты.

— Увы, мой друг, — просипел потрясённый столь грубым вторжением в его личную жизнь Деньгуб, — не могу, я ведь со дня рождения только здесь и теперь.

— Чего? — такого ответа подвижник явно не ожидал. — Поговори ещё мне!

Развернувшись на сто восемьдесят градусов, он вразвалку направился к небольшой группе своих товарищей, тоже лохматых и повязанных такими же, как у него, малиновыми платками.

Через «амбразуру» Деньгуб с удивлением увидел, как толпа подвижников по приказу его визитёра поначалу рассеялась, а потом построилась в несколько шеренг — сколько именно сквозь прорезь было трудно сосчитать. Взявшись за руки, они начали, постепенно наращивая темп, колотить в такт друг другу башмаками по мостовой. Затем одновременно, все как один, подпрыгнули и хрипло проревели: «Смерть! Смерть!» Топот перешёл в мелкую дробь и стал непрерывно нарастать. Это напоминало стадо буйволов во главе со взбесившимся вожаком… Затем подвижники, выпучив глаза и вращая белками, уподобились знаменитой жабе Скаламбухе и высунули при этом наружу красные прыщеватые языки. Деньгуб присел от ужаса и захлопнул заслонку. И сделал это вовремя: в дверь, в стену и на жестяную крышу особняка обрушились град камней и фейерверк пылающих окурков.

Топот и грозные восклицания, а также бомбардировка не утихали примерно до полуночи. И естественно,

что Деньгуб не мог уснуть под такой аккомпанемент, хотя прочному особняку всё это нисколько не могло повредить. Но сидеть, приняв привычную позу лотоса, было также не вполне возможно. Вместо этого он, охваченный нервным припадком, катался по полу, обеими руками скрёб голову, дёргал себя за волосы и время от времени выкрикивал что-то маловразумительное. Может быть, его реакция была бы другой, если бы ему кто-нибудь своевременно сообщил, что подвижники всего лишь исполнили перед его жилищем обычный для них боевой ритуальный танец, сценарий которого разработал лично профессор ФКПИ Ух Перекидник. Это воинственное представление предки хламов исполняли каждый раз в процессе подготовки к нападению отвратительной жабы Скаламбухи. Слаженный и оглушительный, нарастающий ритм должен был нагнать на пресмыкающееся страх, создав у него впечатление, что не десяток смельчаков, а огромное войско приближается к его логову. Кручением же выпученных белков, высунутыми языками и отрывистыми криками предки хламов распаляли свою смелость и ненависть.

На следующее утро, едва только измученный Деньгуб забылся тревожным сном, кто-то снова оглушительно постучал в дверь:

— Хозяин, ты дома?

Деньгуб встрепенулся. Он не был любителем старинных плясок, и ему не хотелось снова пережить вчерашнее. Нехотя он подполз к двери и отодвинул заслонку над прорезью.

Некто, повадкой напоминающий предыдущего посетителя, топтался на пороге. Была видна только его наголо остриженная голова, рубаха навыпуск, кое-где наспех заштопанная цветными нитками, да всё та же

козья ножка, перемещающаяся справа налево между глухо сжатыми, но чисто выбритыми квадратными челюстями.

— Я о тебе слыхал. Ты — Деньгуб Мылица, знаменитый диссидент или декадент, уже не помню. Лично мне ты не нравишься. Но враги моих врагов — наши друзья. Можешь выходить, защиту тебе я гарантирую! — пробурчал первый увиденный им неподвижник.

Неподалёку виднелась небольшая кучка его приятелей, среди которых крайне удивлённый Деньгуб узнал бывшую аристократку Гортензию Набиванку, тоже наголо обритую, с папироской в зубах. Деньгуб отметил про себя, что её новая причёска ничуть её не портит. Лысые головы на свету матово поблёскивали. А ещё немного дальше сгрудилась неизвестно откуда взявшаяся кучка его недавних преследователей-подвижников, все до одного с платками вокруг шеи и козьими ножками в зубах.

Вероятно, наличие в ватаге неподвижников хорошо знакомой ему Гортензии подтолкнуло Деньгуба к отважным действиям. Через несколько минут, понадобившихся ему, чтобы справиться с проржавелыми без долгого использования замками, обитая металлом дверь стала медленно отворяться. Деньгуб Мылица, еле стоящий на ногах, окинул усталым взглядом всю поджидающую его компанию. Несколько десятков глаз, в свою очередь, пристально уставились на него. И тут руководитель делегации неподвижников бесцеремонно подхватил его на руки и передал своему соседу. Как балерина, проплыл Деньгуб над скопищем обритых до зеркального блеска голов, после чего очутился в самом его эпицентре.

Тем временем с того места, где столпились их заклятые враги, послышался размеренный топот,

который с каждой минутой становился всё оглушительней. «Смерть! Смерть!» — резануло воздух. Масса, защищающая его, в ответ ещё более уплотнилась. Сначала Деньгуб Мылица едва не взвыл от ужаса и безысходности ситуации, в которой он оказался, чувствуя отвратительную для него близость десятков чужеродных тел. Однако в какой-то момент ему вдруг стало необычайно хорошо. Деньгуб, недавно больше всего боящийся чужого прикосновения, почувствовал, совершенно неожиданно для себя, какое-то удовольствие. Итак, он больше не один, и это, оказывается, даже приятно. Можно перестать думать, можно подчиниться чужой воле, притом воле воинственной — да это совсем неплохо! Деньгуб сделался составной частицей монолитной массы, единичным проявлением её плотности и мощи. И чем дольше неподвижники оставались неподвижными, тем сильнее он ощущал свою твёрдость и силу…

Долго ничего не происходило, однако под растущий топот ног и отчаянные вопли подвижников в толпе неподвижников, внутри которой находился Деньгуб, стала ощущаться необходимость решительных действий. И вот оно! С криками и гиканьем монолитное до того сообщество его соратников распалось, а затем бросилось, вновь объединившись, навстречу слаженным вражеским рядам. Вплотную приблизившись к ним, неподвижники резко остановились и начали закидывать врагов окурками и пылающими спичками. И это был настоящий фейерверк, ради которого, безусловно, стоило родиться на свет. Деньгуб Мылица швырялся спичками и окурками и впервые в жизни хохотал от души. И вместе с ним хохотал — он вдруг это почувствовал — его Невидимый Отец.

Впрочем, до настоящего побоища дело на этот раз не дошло. Заклятые враги нехотя договорились о дате последних переговоров и стали потихоньку расходиться. Аристократка, щёлкая маленькими дамскими ножницами, предложила Деньгубу постричься налысо, и он с радостью согласился. Предварительно угостив совершенно лысого Деньгуба пирожком с картошкой и все до единого перецеловавшись с ним на прощание, новые друзья наконец-то разрешили ему вернуться домой.

Счастливый и опалённый со всех сторон неприятелем, Деньгуб вернулся в свой особняк. Однако светлый прямоугольник, который оставлял после себя сноп призрачного света, сочившегося сверху, бесследно исчез, и похоже, что навсегда. Приняв привычную позу лотоса, Деньгуб запрокинул лицо кверху, по направлению к чёрному прямоугольнику окна. Но чернота не рассеивалась. Молиться тоже почему-то уже не хотелось. На этот раз вместо сочувственного недремлющего Ока из бесконечности на него отсвечивала зияющей пустотой равнодушная чёрная дыра, наблюдающая за мизерным лоскутом пространства под названием Хламия. И тут до него дошло: Невидимый покинул своего любимого сына. Богоизбранности Деньгуба Мылицы пришёл конец.

Он ощутил себя вдруг до предела одиноким и покинутым. Родовой особняк, ещё вчера такой уютный и недоступный для чужаков, больше не защищал его, и он почувствовал непреодолимую, какую-то даже наркотическую потребность снова слиться с неподвижной массой, где все равны, где нет никаких различий, никакой дистанции, в единении с целым, к которому так и хочется прильнуть и стать плечом к плечу со своими идейными братьями, зачерпнуть их общей

силы и бесстрашно глянуть в лицо любой грядущей неизвестности, а потом вместе со всеми начать забрасывать проклятых недоверков пылающими окурками и спичками… И потому он никак не мог дождаться светлого завтра.

* * *

Никто не знает точно, откуда взялся огонь. Скорее всего, коренастый, с квадратными челюстями подвижник швырнул в невзрачного Деньгуба Мылицу непогашенным окурком сигареты, а тот, из принципа, не погасил его. Вот до чего могут довести принципы!

КАЛЕЙДОСКОП

Огонь подкрадывался к дому Свинтарея мягко и неотвратимо, как тигр, который заметил добычу и крадётся к ней на беззвучных пружинистых подушечках лап. Вот изголодавшийся тигр лизнул пишущую машинку писателя, и только что отпечатанный лист ярко вспыхнул и пепельным дождём осыпался на стол. Свинтарей закашлялся, отодвинул от себя машинку и высунулся в окно, пока не охваченное пламенем.

Улицу запрудила гигантская толпа хламов и хламок. Они стояли, взявшись за руки — точь-в-точь испуганные дети. Они больше не были подвижниками и неподвижниками — непримиримая вражда уже не разделяла их. Вчерашние заклятые враги, охваченные ужасом, глядели наверх, куда поднимался дым и откуда спускалась жёлтая ноздреватая туча. И хотя огонь разгорался, становилось всё холодней и холодней.

Свинтарей передёрнул плечами и пожалел, что его последнюю неоконченную повесть «Калейдоскоп» ни он сам и никто из хламов больше уже никогда не прочтёт. Хотя эта повесть писалась им на скорую руку, однако такой глубины, таких ярких озарений и прихотливого соединения сюжетных ходов в его прежних произведениях ещё никогда не было. И прежде, чем вместе с прочими хламами стать стелющейся и переливчатой голубоватой дымкой, Свинтарей в последний раз в его жизни глубоко и мечтательно задумался.

* * *

Невидимость — это такое особое состояние. Обычный хлам, конечно, невидимым быть не способен, даже если очень бы этого захотел. Но никто и не утверждает, что Невидимый — это обычный хлам. Он был и остаётся, безусловно, каким-то совершенно другим. И вообще, есть мнение, что он существовал всегда, даже и в то время, когда о Хламии никто и слыхом не слыхивал.

Так вот, в те времена Невидимого окружали одни только не очень сложные неживые вещи, о которых легко догадаться, из чего они состоят. О жизни тогда ему ничего не было известно (а возможно, она просто не входила в круг его интересов). По этой причине в экспериментах, которые он со скуки проделывал, появлялись такие понятия, как «пустота», «пространство», «время», «движение» и прочее в этом же духе. Ну и само собой, Невидимому однажды захотелось как-то это всё приспособить, сделать себе что-то вроде космической игрушки. И он соорудил калейдоскоп — абсолютно чёрное цилиндрическое тело, внутри которого помещалась абсолютно чёрная дыра. Через эту дыру было нетрудно наблюдать, как колобродит время, как пустота неожиданно переходит в материю, обломки которой с непонятной, но совершенно непреодолимой силой притягиваются друг к другу и составляют какие-то дикие, но при этом весьма любопытные комбинации.

Это развлекало его на некоторое время, затем, чтобы внести ещё какое-то разнообразие, он попросту это самое время останавливал. Тогда всё созданное им рассыпалось, как будто проваливаясь в никуда. Но стоило опять слегка тряхнуть калейдоскоп, как всё опять начинало вертеться, уже по-новому, иначе, и так называемый ход вещей возобновлялся. Через несколько миллионов лет на одной из пляшущих

частиц зазеленела какая-то то плесенеобразная, студенистая масса, которая даже после того, как он переставал вертеть калейдоскоп, упорно не желала исчезать. Ничего другого не оставалось, как назвать это живой материей, или, ещё проще, — жизнью. И тут Невидимый наконец-то почувствовал, что он доволен. Так возникла Пуща.

Первоначально сделанное казалось Невидимому совершенным, он предполагал, что ни в чём другом нет никакой необходимости. Однако, как всякий гениальный мастер, он вскоре интуитивно почувствовал какой-то изъян, какое-то существенное несовершенство в созданной им конструкции. Целый день, сидя на корточках в абсолютной пустоте, Невидимый напряжённо думал о том, как усовершенствовать сделанное. И вдруг понял, что нужно было добавить на внутреннюю поверхность самого последнего стёклышка калейдоскопа, — микроскопические копии себя самого и ещё нечто, очень специфическое! И захохотал от радости.

* * *

Итак, была тишина. Как жилистые, узловатые руки, переплетались корни могучих деревьев. Мох расползался по коре, но не мог скрыть продолговатые следы дождевых потёков, которые никогда не высыхали в сумеречных и сырых недрах Пущи. Казалось, ничто не способно поколебать эту извечную устойчивость, нерушимый покой, железную убеждённость в своём могуществе… И вдруг земля зашевелилась и заходила ходуном. С хрустом и треском начали отламываться от деревьев тяжёлые ветки и улетать куда-то в чёрное ничто. Тяжело ухая, полезли из земли корни с прилипшими к ним комьями глины. Но всё это тут же становилось трухой и рассыпалось на молекулы. Лишь

обнажённым стволам некоторое время удавалось выстоять. Затем и они стали валиться на землю, но это было подчинено какому-то порядку, как будто воля Невидимого заставляла их укладываться рядами в нужной последовательности, занимая строго определённую диспозицию. Ну а потом и вся Пуща, мучительно постанывая, раздвинулась в разные стороны. Самые первые стволы, образовав квадрат, замерли на месте, и это стало главной преградой для остальных брёвен, мчавшихся следом и с царапаньем карабкавшихся на своих предшественников. Двигаться дальше было некуда. Спустя некоторое время сооружение приобрело какие-то очертания, замысел бессмысленного на первый взгляд катаклизма начал проявляться яснее. Вокруг голого пространства возник забор, напоминающий колодец. Между тесно пригнанных брёвен не просачивался ни единый солнечный луч. Монолитное, как организм, сооружение могло быть одновременно уподоблено башне, где зороастрийцы-огнепоклонники хоронят своих умерших. И в высоту втискивались оголённые брёвна, настолько плотно прижимаясь друг к другу, что пространства вроде бы перестало хватать на всех. А неизвестно откуда взявшееся жёлтое облако, между тем, как в воронку втягивалось в прямоугольное жерло, которое постепенно полностью всосало его в себя.

Так возник Высокий квадратный забор.

* * *

Всё разделилось: с одной стороны оказалась сплошная, заросшая мощными деревьями Пуща, с другой — замкнутое с четырёх сторон стенами квадратного забора пространство, лежащее в сплошной и непреходящей тени. Но этим дело не ограничилось. Какая-то полупро-

зрачная жидкость стала самопроизвольно выделятся из толщи Высокого квадратного забора и, как капли пота, маленькими пузырьками скатываться вниз на глинистую, изрытую корнями почву. Густо усыпав землю перед забором, пузырьки, словно испытывая самопритяжение, начали сливаться друг с другом и увеличиваться. Достигнув определённого размера, эти новые амёбоподобные образования застывали на месте, каждое отдельно от других, но внутри их движение не прекращалось, как если бы совершалась работа, сохраняющая некоторые смысл и цель. Потом эти образования стали постепенно темнеть, вздрагивать и даже слегка шевелиться. Нетрудно было догадаться, что это уже не просто комки, а что-то совсем другое, принципиально новое и при этом перекатывающееся с места на место. Круглыми они не были, скорее, слегка удлинёнными, и было заметно, что внутри их пульсирует какая-то жидкость, распирающая их изнутри…

Удобнее всего казалось назвать всё происходящее возникновением живых существ, хотя, разумеется, можно было придумать и какое-нибудь другое название. Между тем заново возникшие существа стали приобретать цвет, и, главное, они становились тёплыми. Окраску их так и тянуло назвать телесной. Было очевидно, что появление на каждом из них продолговатых отростков, то есть рук и ног, — это всего лишь вопрос времени. Последней отпочковалась голова.

Так возникли хламы.

* * *

Если бы кто-нибудь догадался заглянуть в провал, окружённый Высоким квадратным забором, то, вероятно, не мог бы не увидеть хламов, которые в окружении тяжёлых бревенчатых стен хаотически суетятся, все

вместе чем-то напоминая исполинского ежа с живыми, подвижными, выпирающими в разные стороны колючками. Тёплые, аморфные и переливчатые, они не создавали никакой истории, а попросту жили простой, животной, инстинктивной жизнью. И не было никакого смысла толковать о какой-либо внутренней сущности каждого из них в отдельности. Но постепенно тёплая переливчатость их материальной формы начала загустевать, хаос стал принимать более определённый и осмысленный вид. Появились группы, обособляющиеся одна от другой. Они отличались не только цветом, теплотой и размерами, но и привычками и так называемыми наклонностями. Возникли законы, правила поведения и тому подобное, а главное — так называемый внутренний мир, наличием которого его обладатели чрезвычайно гордились. Хотя особенно гордиться было, по правде говоря, нечем. Ведь было ясно, что это всё попросту результат эксперимента, который неизвестно зачем проводил Невидимый. Впрочем, понятие высшей силы появилось в хламской среде практически сразу. Ей поклонялись, толком не понимая, для чего это, собственно говоря, нужно. И всё это вместе взятое, весь процесс становления и самопознания, получил в конце концов загадочное название Доисторические времена.

* * *

С этого момента началось самосовершенствование хламов. Каждый трудился, не покладая рук, при этом в ход шло всё: деревяшки, глина, мох, вода. Власти не было, никто никем не управлял, но было заметно, что какой-то план соблюдается. Каждый, конечно, думал, что то, что он делает, важнее всего на свете, а остальные просто валяют дурака. Фактически же

совершалось что-то общее и единое, целью которого было придать жизни хламского общества хотя бы некоторый смысл. Ну и наконец, проступили контуры общего дела, которое, похоже, до сих пор выполнялось на бессознательном уровне.

На широкой поляне сидела, поджав под себя бородавчатые лапы, огромная жаба, получившая впоследствии прозвище Скаламбуха. Все так и замерли, столпившись вокруг сотворённого ими чудовища. Зелёная кожа испускала какое-то зловещее сияние. Белки огромных выпученных глаз походили на две на скорую руку отмытые от остатков обеда тарелки, которые непрерывно вращались вокруг собственной оси, но при этом никакого моргания не отмечалось. Кожа также не находилась в покое, под ней что-то бурлило и перекатывалось. Это, скорее всего, были гигантские мускулы, о назначении коих хламское общество получило полное представление несколько позже. Ну и, разумеется, дыхание — тяжёлое, зловещее и не предвещающее ничего хорошего. Из пасти, как маленький фонтанчик, непрерывно била тонкая струя слюны — оттого что у жабы был прекрасный аппетит. И в придачу к этому всему непрерывно извивался главный хватательный инструмент Скаламбухи — язык, липкий, розовый, с цепкостью и силой которого некоторым хламам довелось познакомиться гораздо ближе. Но, главное, за всем этим стоял Невидимый, так как даже с точки зрения размеров и хватательной силы жабьего языка, с одной стороны, и относительно большого и практически постоянного количества хламов — с другой, — всё находилось в состоянии некоторой странной гармонии. Несмотря на упомянутый выше аппетит жабы Скаламбухи, численность хламов не убывала, хотя в то же время и не росла. Соседство

жабы не привело к фатальному вырождению, скорее наоборот, сопротивляемость возросла и знание жизни и смерти тоже. Ну и само собой, дело пришло к известному самоуглублению, заглядыванию в тайники собственной души, а также к другим всевозможным исследованиям, в числе коих можно назвать историю, географию и тщательное (до миллиметра) измерение площади Высокого квадратного забора.

Так началась хламская наука.

* * *

У любого дела, как известно, существует более или менее удачная концовка. Невидимый постепенно стал осознавать, что созданный им мир при всём его определённом совершенстве получился несколько скучноват. Чего-то как бы не хватало. Да, были хламы (имелись в наличии), был Высокий квадратный забор, была жаба, была наука. Всё вроде одно к одному. Драматично, законченно и ничего лишнего. Но от единственного ощущения — безысходности — избавиться было попросту невозможно. И вот, собственно говоря, для полноты картины он взял и сотворил Гортензию Набиванку. Это, конечно, даже для него оказалось очень непросто. Но именно после этого можно было с полным основанием утверждать, что в Хламии существуют чувства, которые при определённых обстоятельствах способны скачкообразно переходить в любовь.

КРУЖЕВА НА ЗАБОРЕ

В тот момент, когда писатель Свинтарей с намерением сообщить что-то неотложное подбежал и обхватил его за плечи, какая-то невидимая рука оторвала Гицаля Волонтая от земли и втащила его в шероховатое деревянное тело Высокого квадратного забора.

Спустя минуту та же рука вытолкнула его назад. Утратив массу и объём, он, подобно капле жидкости, расплылся по замшелой поверхности забора. А когда стены внезапно засветились изнутри золотисто-голубым свечением, Гицаль, словно на огромном экране, различил длинную шеренгу собственных изображений и понял, что перед ним, как на киноплёнке, разворачивается вся его предыдущая жизнь: от первых мук рождения до непосильной работы на строительстве канала.

Эта полоса пересекалась с полосами жизни известных и неизвестных ему хламов, которые, в свою очередь, пересекались с другими полосами и, отдаляясь, становились тоньше, образуя на поверхности забора мудрёное кружево.

Ощущение от увиденного было необыкновенным. Но анализировать его Гицаль не пытался, ибо каким-то шестым чувством ощущал, что логика и хламские понятия здесь бесполезны. Лишь в одном он не сомневался: всё, что было изображено, представляло собой историю рождения, жизни и гибели Страны Хламов.

Напротив того места, откуда он вёл своё наблюдение, в заборе зиял гигантский поперечный разлом, своеобразная чёрная дыра. Слева от него забор как бы начинался, так как был сложен из свежеочищенных, плотно пригнанных друг к другу брёвен. Отдаляясь от Гицаля, он постепенно старел, загнивал, обрастал мхом, растрескивался, а в конце, перед тем как нырнуть в чёрную дыру, наклонялся, обугливался и скалился беззубым ртом длинной извилистой трещины.

На поверхности забора можно было различить все до единого события, какие когда-либо имели место в Хламии: не оставалось ни одного пропуска, ни одного свободного лоскутка... И Гицалю померещилось вдруг, что поверхность эта да и сам квадратный забор — временная петля, со всех сторон окружающая клочок пространства, где творится история Хламии. И нет у этой петли ни конца, ни начала, ибо она подобна змее, заглотившей свой собственный хвост.

Понаблюдав ещё, Гицаль понял, что жизни хламов — это простые отрезки, рывки от рождения к смерти. Лишь полосы судеб отдельных избранников вновь и вновь прерывистой строчкой пробегали по поверхности забора, то и дело прокалывая её насквозь. К примеру, Смок Калывок несколько раз появлялся в Хламии и исчезал из неё, и эти моменты были поворотными в истории хламской державы. И сам Гицаль, исчезнувший во время строительства канала, появился вновь во время его засыпки в образе надменного старца в чёрных очках с дорожной тростью в руке, а затем на длинном, заставленном едой и напитками обеденном столе кабачка «Сердцебиение» перед Хитером Смитером и Смоком Калывоком, которые напрасно старались договориться о чём-то важном для существования Хламской державы.

Какой смысл содержался в увиденном, для чего и кому это было нужно — оставалось только гадать. Одно было несомненно: линии Гицаля и Смока, подчиняясь какой-то вселенской геометрии, стремились исключить одна другую и поочерёдно пересекались с заветным сундуком Болтана Самосуя. Сам же сундук был подвешен на еле заметных нитях, которые брали начало в чёрном разломе и в него же возвращались.

И непрерывная линия иностранца Шампанского извивалась вдоль поверхности забора, описывала полный круг и исчезала в чёрной дыре. Оттого-то, может быть, Шампанский и был осуждён никогда не умирать и ниоткуда не появляться…

Невидимая ладонь опустилась на Гицаля Волонтая, оторвала его от золотисто-голубой поверхности и в виде сверкающего эллипсоида швырнула в неуютное пространство Страны Хламов.

Последним ощущением романтика было сожаление о том, что ни ему, ни кому другому не дано взглянуть на оборотную сторону забора, узнать полную и окончательную истину. Но было ясно, что даже то, что ему довелось увидеть, — это огромное счастье и щедрый подарок Невидимого, кому принадлежал весь замысел и чьё расположение ему предстояло ещё оценить.

1987–1995

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕГ МИНКИН
ВИКТОР ГОЛКОВ

Правдивая история Страны Хламов